

Лев Толстой и «Современник» (историческая коалиция)

1

Есть в творческой биографии Толстого события, которые никак невозможно замкнуть в определенные хронологические рамки. Они как бы перерастают пределы своего времени. К такого рода событиям относится участие Толстого в издании «Современника» – лучшего русского революционного и демократического журнала середины XIX в.

Если говорить о датах, то история непосредственных отношений Толстого с редакцией «Современника» занимает шесть лет. В 1852 г. здесь была напечатана повесть «Детство». Это был литературный дебют Толстого. В 1856 г. он подписал «обязательное соглашение» печатать все свои новые произведения в этом журнале. В 1858 г. контракт был расторгнут.

Что же касается существа дела, то отношения к «Современнику» складывались и сложились задолго до того, как Толстой написал свое первое письмо Некрасову. Непосредственные деловые и творческие отношения с Некрасовым продолжались и после разрыва «обязательного соглашения», и даже после того, как «Современник» в 1866 г. был закрыт..

Шесть лет общения с редакцией «Современника» были важнейшим периодом творческой биографии Толстого, когда он вполне сложился как человек и писатель, когда он «заявил свое имя» и завоевал всероссийскую известность. Время это было важным не только для Толстого, но и для всей России. Шла и окончилась Крымская война, приближалась и свершилась

323

Э. Г. Бабаев

«крестьянская реформа». Не Севастополь пал – пало крепостное право.

*Ты знаешь сам,
Какое время наступило, –*

говорил Некрасов в стихотворении «Поэт и гражданин».

Толстой как писатель был создан этим временем. И как бы далеко он ни ушел от него в своем духовном развитии, идеалы его молодости всегда сохраняли над ним свою власть. Именно в «Современнике» он почерпнул «мысль о значении социальных идей». Здесь завязывался «узел» его творческой судьбы.

Можно назвать целый ряд исследований и публикаций, посвященных теме «Толстой и «Современник» [1; 2; 3]. Общую мысль этого ряда исследований с наибольшей прямоотой высказал В. Евгеньев-Максимов, который утверждал, что попытка Некрасова объединить в журнале «Современник» писателей, принадлежащих к различным направлениям, была «неудавшейся коалицией» [4, с. 357 – 384]. Но коалиция как реальность существовала несколько лет. Это был, правда, не вечный союз. Но никакая коалиция не бывает вечной. Организационно союз был распущен очень скоро. Но идейно он продолжал существовать на протяжении всей жизни Толстого.

Одна из тайн Толстого именно в том и состоит, что он был и всегда оставался человеком 60-х годов. В каждом из его великих романов, например, не говоря уже о публицистических произведениях, можно найти отголоски или преобразование тех общественных идеалов, которые сложились накануне отмены крепостного права. Отсюда его глубокая вера в силы народа, сознание своей вины перед народом, уверенность в будущем. <...> Здесь глубокие корни Толстого

Если рассматривать проблему «Толстой и «Современник» «отсюда и досюда» [5, с. 655], то она локализуется, теряет свое настоящее значение и становится лишь эпизодом в истории журнальной полемики 50-х годов. Если же эту проблему понять «как целое», то она вырастает в своем значении, раскрывая новые, глубинные закономерности творчества Толстого...

Статьи II

2

Детские и отроческие годы Толстого совпали с тем временем, когда русская литература вступала или уже вступила «на новый путь – журнальный путь». Но Ясная Поляна была как бы отгорожена от «текущей современности» своими «частыми лесами». Усадебная библиотека пополнялась многотомными описаниями путешествий и крестовых походов, сочинениями Бюффона и Кювье. Отец Толстого не жаловал новейшей литературы, не говоря уже о журналах и газетах. Он полагал, что детям хватит «Истории государства Российского» Карамзина для образования и поучения. И лишь для гувернера, как вспоминает об этом Толстой в своей повести «Детство», выписывалась из столицы газета. Это была вездесущая «Северная пчела» Булгарина.. [6, т. 1, с. 5].

Никаких других газет или журналов Толстой в детстве не видел. Для него литературой прежде всего была книга. Он воспитывался в старинном аристократическом вкусе и в той усадебной среде, которая относилась к журналистам с некоторой долей предубеждения. Ни в дневниках, ни в письмах Толстого, ни в его воспоминаниях о ранней поре жизни нет никаких упоминаний о «Московском телеграфе», о «Телескопе», о «Библиотеке для чтения». А ведь это были самые распространенные журналы 30 – 40-х годов. Можно предположить, что в те годы, когда Толстой был студентом Казанского университета, он должен был читать эти журналы. Но никаких достоверных сведений об этом нет.

И в юности Толстой был, по-видимому, совершенно чужд журнальной литературе. Он гораздо охотнее читал Руссо, чем свежую газету или новый выпуск журнала. В этом отношении Толстой сохранял верность привычкам и традициям, которые усвоил в Ясной Поляне и которые были воплощены в усадебной библиотеке его отца. Один из казанских однокашников Толстого вспоминает: «Тогда мы вели серьезные разговоры и всего больше о философии» [7, с. 66 – 68].

Самое слово «журнал» Толстой понимал тогда в старинном смысле, как ежедневный дневник, «Франклиновский журнал», в который он записывал свои «слабости» в целях самоусовершенствования. Такой журнал он тщательно вел в юности. Он жил в те годы как бы вне своего времени. Наибольший интерес у него вызывали сочинения минувшего века. Толстой читал «На-

каз» Екатерины II и «Дух законов» Монтескье, «Фауста» Гёте и «Сентиментальное путешествие» Стерна, «Характеры» Лябрюйера и «Автобиографию» Франклина. Все эти книги могли быть и в библиотеке его отца в Ясной Поляне.

Новот Толстой находит новые книги. Он зачитывается «Евгением Онегиным» Пушкина, «Мертвыми душами» Гоголя, «Героем нашего времени» Лермонтова, открывает для себя новые имена: Диккенс, Стендаль... Постепенно современность завладевает его вниманием. Мысль становится зрелой и самостоятельной, обращаясь к жизни. Толстой раздумывал над тем, что он вынесет из университета, «возвратившись восвояси, в деревню». Ему нужны были знания, которых нельзя было найти нигде, кроме... современного журнала. Так в руках Толстого именно в 1847 – 1848 гг. оказался «Современник». Здесь печатались «Записки охотника» Тургенева, «Полинька Сакс» Дружинина, «Антон-Горемыка» Григоровича. Впоследствии, составляя список книг, которые привезли на него в юности наибольшее впечатление, Толстой назвал эти повести из «Современника» [6, т. 66, с. 66 – 67].

«Помню умиление и восторг, произведенные на меня, тогда шестнадцатилетнего мальчика, не смеявшего верить себе, «Антон-Горемыкою», бывшим для меня радостным открытием того, что русского мужика... можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже с трепетом», – писал Толстой о тех днях, когда он открыл для себя журнальную литературу 40-х годов [6, т. 66, с. 409].

«Современник», издававшийся Некрасовым и Панаевым, был осуществлением идей Белинского о необходимости сближения современной литературы с журналистикой. «Теперь вся литературная деятельность сосредоточилась в журналах», – писал Белинский в 1847 г.

В 1851 г. Толстой поступил в действующую армию и уехал на Кавказ. Это было важное решение. Он как бы приобщился здесь к великому миру страданий человечества, что не могло не изменить его жизни и литературных вкусов. Старое усадебное отстранение от журналов и журнализма теряет свою власть над Толстым. В сущности, он сделал выбор уже в студенческие годы, когда еще не думал о настоящей литературной работе. Когда же он окончил свою первую повесть «Детство», вопрос для него был решенным. И он отослал рукопись Некрасову в «Современник».

326

менности. Толстой обладал особым чутьем социальной значимости событий, свидетелем которых он был на протяжении всей своей жизни. От тех далеких 50-х годов до эпохи первой русской революции 1905 г. он всегда возвышал свой голос, когда необходимо было нарушить молчание. И вот почему он однажды сказал, как выдохнул: «Не могу молчать!»

С самого начала военных действий в Крыму русская пресса оказалась под строжайшим контролем цензуры. Официальные известия печатались лишь в «Русском инвалиде». Но положение дел на фронте и в осажденном городе было таково, что Толстой и некоторые другие боевые офицеры решили предпринять собственное издание для правдивого и, как они были уверены, полезного освещения событий.

Было выбрано для издания фронтное название – «Солдатский листок». «У меня материалов гибель», – писал Толстой Некрасову. – Материалов современного военного содержания, набранных и приготовленных не для вашего журнала, но для «Солдатского листка», о попытке основания которого при Южной армии вы слышали, может быть, в Петербурге» [6, т. 59, с. 286 – 287].

Самая мысль о «Солдатском листке», смелом опыте современной военной журналистики, принадлежала Толстому. И надо признать, что это была важная и новая мысль, в духе «Современника». Сохранился проект обложки журнала «Военный листок». На лицевой стороне обложки, рядом с изображением орудия и артиллеристов, предполагалось напечатать объявление о том, что подписка принимается «в главной квартире Южной Армии», а также в Петербурге в конторе «Современника» [10]. Программу будущего журнала Толстой излагал в письме к Некрасову: «Основная мысль этого журнала заключается в том, что ежели не большая часть, то верно большая половина читающей публики состоит из военных, а у нас нет военной литературы» [6, т. 59, с. 296].

Материалы, поступавшие из Южной армии, могли перепечатывать в петербургском журнале. «Прошу вас, – писал Толстой Некрасову, – дать некоторым отделам – почти всем неофициальным – место в вашем журнале, и не временное, а постоянное» [6, т. 59, с. 296 – 297]. Как настоящий журналист, Толстой думал об интересах большей половины читающей публики, т. е. именно о читателе. Разрешение на издание нового журнала ему получить не удалось. Столкновение с царским запретом было первым уроком, полученным Толстым на поприще журна-

328

Толстой, как и вся литература его времени, должен был вступить и вступил «на оный путь». И он сразу усвоил новые понятия и термины текущей словесности. «В наше время, – писал И. В. Киреевский в 1845 г., – изящную словесность заменила словесность журнальная. И не надобно думать, чтобы характер журнализма принадлежал одним периодическим изданиям: он распространяется на все формы словесности, с весьма немногими исключениями. Форма приурочена к требованиям минуты. Роман превратился в статистику нравов; поэзия – в стихи на случай. История, быв отголоском прошедшего, старается быть вместе с тем и зеркалом настоящего» [8, с. 122].

Герцен прямо называл стихи Некрасова «Поэт и гражданин» «статьей». «Все стало называться статьей – и рассказ, и стихотворение» [9, с. 298]. В духе времени и Толстой называл свои произведения статьями. В сентябре 1853 г. он пишет Некрасову из Пятигорска; «Посылаю небольшую статью для напечатания в вашем журнале». Речь шла о рассказе «Записки маркера». «Ежели бы цензура сделала новые вырезки, то ради Бога, возвратите мне статью» [6, т. 59, с. 246].

В 1854 г. с началом Крымской войны Толстой попадает в Севастополь. Он неизменно оказывался в самом центре современных событий. У него был живой темперамент летописца современности. И он задумывался уже не только о статьях к сроку, но и о собственном журнале. «Я убежден, – говорил Толстой, – что опытный и добросовестный редактор – в особенности в России – по своему положению посредника между сочинителем и читателем всегда может вперед определить успех сочинения и мнения о нем публики» [6, т. 59, с. 193].

Таким опытным и добросовестным редактором представлялся ему издатель «Современника» Некрасов. И хотя собственный опыт Толстого в журнальных делах был невелик и ограничивался публикацией нескольких статей в «Современнике», он сам решил выступить в роли редактора. Какая огромная перемена должна была произойти в его взглядах на роль журнала и на самый принцип журнализма, чтобы могло возникнуть такое решение!

Дело заключалось не в авторском самолюбии, даже не в литературе, а в судьбе отечества и в самых насущных задачах совре-

327

листки. Николай I распорядился все материалы направлять в редакцию официального издания «Русский инвалид».

Ничто не мешало Толстому исполнить это распоряжение государя. Но он предпочел «Современник». «Пришлите нам ваши солдатские рассказы, – писал Некрасов, – мы их напечатает в «Современнике», зачем их совать в «Инвалид»? Печатать их в нашем журнале можно, разумеется, если они пройдут гражданскую и военную цензуру» [11, с. 23].

Некрасов предлагал Толстому «постоянное место в журнале», как он сам об этом просил. И Толстой напечатал в «Современнике» свою Севастопольскую летопись: «Севастополь в декабре» (1854), «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года». Это был своеобразный журнал в журнале – «Солдатский листок» Толстого в «Современнике» Некрасова, дневник современности, написанный участником трагических событий.

Успех Толстого был громадным. Н. Г. Чернышевский сравнивал его с Лермонтовым, видел в нем нового замечательного художественного писателя, которого отличает «чистота нравственного чувства» [12]. А. В. Дружинин, напротив, говорил не столько о художественном, сколько о публицистическом даровании Толстого. В Крыму, во время военных действий, как отмечал Дружинин, были представители всех европейских крупнейших газет и журналов, но ни один из них не написал ничего, подобного «Севастопольским рассказам» Толстого, которые и с чисто журналистской точки зрения представляли собой наиболее полную и достоверную картину обороны Севастополя [13].

В 1856 г. Толстой вернулся из Севастополя в Петербург. Он был принят в круг «Современника» как «свой». В нем видели новую прекрасную надежду русской литературы. Тогда-то он вместе с Тургеневым и другими крупнейшими писателями и поэтами подписал «обязательное соглашение», по которому все его новые произведения должны были публиковаться только в «Современнике» [14].

Толстой внимательно присматривался к петербургским литераторам. Он, офицер из действующей армии, впервые попал в литературную среду. И чувствовал себя между столичными романистами, журналистами и поэтами Лермонтовым, вернув-

329

шимся живым и неведимым с Кавказа. «Тургенев – литератор, – говорил Толстой, – Пушкин был тоже им, Гончаров – еще больше литератор, чем Тургенев; Лермонтов и я – не литераторы» [15, с. 47]. Но, пожалуй, он уже не мог сказать: «не журналисты»... Он познакомился с М. Н. Катковым, редактором «Русского вестника», который тогда еще придерживался идей английского конституционного либерализма. У него была возможность изучить взгляды западника В. Н. Чичерина, печатавшегося в «Русском вестнике», и славянофила И. С. Аксакова, имевшего свой журнальный мир в «Русской беседе».

После смерти Николая I, в 1855 г., общественная жизнь стала напряженной, непривычно динамичной. Все ожидали и искали нового. «Политическая жизнь вдруг неожиданно охватила собою всех, – говорил Толстой в 1858 г. – ...Есть аристократы на манер англичков. Есть западники, есть славянофилы. А людей, которые бы просто силою добра притягивали к себе и примиряли людей в добре, таких нет» [6, т. 60, с. 246].

В стране складывалась революционная ситуация. Толстой прекрасно это чувствовал. Еще в 1856 г. он писал в одном из своих писем: «У нас главная беда: не только дворяне привыкли с закрытыми дверями и по-французски говорить об освобождении, но правительство уж так секретничает, что народ ожидает освобождения, но на данных, которые он сам придумал...» [6, т. 60, с. 89]. Толстой допускал даже возможность прямого столкновения «противоположных интересов» помещиков и крестьян, с ужасом указывал на опасность «резни с нашим кротким народом» и предупреждал: «кончится тем, что нас всех перережут...»

Тургеневу, как известно, «претил» «мужичкий демократизм» Добролюбова. И Толстой не мог не чувствовать, что от сочинений Чернышевского «веет духом классовый борьбы». Поэтому Толстой, считавший своей целью «примирение всех в добре», должен был «отвращаться» от революционных идей «Современника».

И в самом деле, в его дневнике 1856 г. появляется запись: «Редакция “Современника” противна» [6, т. 47, с. 98]. Было бы даже странным, если бы в дневнике Толстого не было такой записи. Толстой высказывал свои идеи не только в своем дневнике, но и во всеулышание в кругу «Современника».

Летом 1856 г. Толстой написал пространное письмо Некрасову, в котором высказал свое решительное несогласие с «исключи-

330

тельным» критическим, сатирическим направлением журнала. «Я нахожу, – писал Толстой, – что скверно, потому что человек желчный, злой, не в нормальном положении. Человек любящий – напротив, и только в нормальном положении, можно сделать добро и ясно видеть вещи» [6, т. 60, с. 75]. Письмо было написано запальчиво, как будто Толстой ожидал на каждую свою мысль желчного возражения. А Некрасов, напротив, ответил спокойно и с полным пониманием характера и настроения Толстого. «Вам теперь хорошо в деревне, – писал Некрасов, – а вы не понимаете, зачем злиться, вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровыми, но забываете, что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности» [16, с. 283 – 284]. Толстой оценил остроумие Некрасова и написал ему новое письмо, в ином, не столь запальчивом тоне.

Некрасов с беспокойством следил за тем, куда клонит Толстой, какую он избирает дорогу в жизни и в литературе. Сатире, Гоголю, отрицанию и «натуральности» Толстой противопоставил Пушкина, свой утопический идеал гармонии, «связи интересов», развития «положительных начал» нравственности и просвещения.

Однажды во время спора о современной литературе Некрасов сказал Толстому, что по линии «положительной» литературы можно скорее дойти до Булгарина, чем до Пушкина [3, с. 24]. Он знал, что больно «заденет» Толстого, но такова и была его цель. Это был вызов, предостерегающий и суровый.

Но Толстой нисколько не испугался «жуペла». Он не допускал и мысли, что его кто-нибудь может «спутать» с Булгариным только оттого, что он говорит о значении и «пользе» нравственного начала в искусстве. «Теперь должно не родится тот человек, – заметил со своей стороны Толстой, – который бы сделал в поэтическом мире то, что сделал Булгарин» [6, т. 60, с. 325].

Эти слова ставили в тупик многих комментаторов Толстого¹ [17, с. 634; 18, с. 411]. А между тем смысл их как реплики в споре совершенно очевиден. Толстой не верил, что нравственное и положительное направление в литературе навсегда скомпрометировано тем, что оно некогда имело своим адептом Булгарина.

Толстой таких ошибок не допускал никогда.

¹ В комментарии к письму Толстого о Булгарине [17, с. 634] говорится: «Смысл этого высказывания остается неясным». Здесь же приводится предположение Б. М. Эйхенбаума о том, что Толстой по ошибке написал: «Булгарин» вместо «Пушкин».

331

Толстой исходил из того, что Булгарин как человек и литератор скомпрометировал только себя. Это его вина. Но тень его упала и на все «положительное» направление, поэтому и не скоро родится человек, который восстановит в правах нравственную идею в литературе, которая ни в чем не виновата. Такова была мысль Толстого.

Некрасов напрасно опасался за Толстого. Сколько усилий приложил в последующие годы М. Н. Катков, который после 1863 г. занял позицию «правее трона», чтобы уловить его в свои сети! Но Толстой разрывал пути «Русского вестника» всякий раз, когда они начинали теснить его. Уже в 1857 г., собираясь в свое первое заграничное путешествие, Толстой искал встречи с Герценом. И Некрасов лучше многих понимал, что даже в тех случаях, когда Толстой в кругу «Современника» казался чужим, он все же оставался «надежным», хотя и «своеобычным» писателем.

В апреле 1856 г. Некрасов говорил В. П. Боткину: «Милый Толстой! Как журналист, я ему обязан в последнее время самыми приятными минутами, да и человек он хороший, а блажь уходится» [16, с. 272].

В 1858 г. «Современник» расторгнул «обязательное соглашение». Из журнала ушли Тургенев, Л. Толстой, Григорович и некоторые другие прежние его сотрудники.

Историческая логика состояла не в том, что Тургенев порвал с «Современником» из-за несогласия с Добролюбовым, а Толстой – из-за своего «личного нерасположения к Чернышевскому». Инициатива расторжения «обязательного соглашения» принадлежала «Современнику».

В редакционном письме «Об издании “Современника”» говорилось: «Направление “Современника” известно его читателям... Редакция в последние годы должна была ожидать изменения своих отношений с некоторыми из сотрудников...»

Редакция, отмечалось далее в этом письме, «не могла пожертвовать основными идеями издания» [19, с. 10 – 11]. Она не жертвовала ими и прежде. Просто времена переменились. И накануне 1861 г. яснее обозначилась разность общественных и политических позиций и в жизни, и в литературе.

Для Толстого, так же как для Тургенева, разрыв с «Современником» был труден. Оба были как бы созданы «Современником». И оба всегда хранили память о первоначальных опытах своей литературной жизни. После того как «обязательное соглашение» «рухнуло», Тургенев сказал: «Словно на волю отпустили,

332

хотя на что она, эта воля?» [20, с. 299 – 300]. Толстой такой «фразы» бы никогда не сказал, но и он чувствовал некое смятение.

Означал ли разрыв с «Современником» «примирение с действительностью»? Был ли это переход на сторону силы и власти? Толстой не оставил никаких сомнений на этот счет.

Наследники Булгарина в стане противников Некрасова не могли на него рассчитывать. Он провозгласил себя сторонником «чистого искусства», желая таким образом подчеркнуть свою независимость и обособленность.

Бывают такие эпохи в жизни общества, когда «склонность художников и людей, живо интересующихся художественным творчеством, к искусству для искусства возникает на почве безнадёжного разлада их с окружающей и общественной средой» [21, с. 226]. Пушкин испытывал такой разлад в 30-е годы, когда написал стихотворение «Поэт и толпа». Теперь Толстой должен был повторить его опыт отчуждения.

В 1859 г. Толстой был избран членом Общества любителей российской словесности при Московском университете. По обычаю этого общества каждый вновь принятый должен был произнести речь в открытом заседании. И Толстой произнес речь в защиту «чистого искусства». «Литература народа, – говорил Толстой, – есть полное, всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться как народная любовь к добру и правде, так и народное сознание красоты в известную эпоху развития» [6, т. 2, с. 272]. Это положение было двойственным. Толстой признавал значение «правды» в искусстве, хотя и рекомендовал себя в качестве «одностороннего любителя изящного» («тмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман...»). Видно было, что он недоволен многим, в том числе и самим собой.

Председательствовал на заседании А. С. Хомяков. Он с большим интересом и некоторым недоверием слушал речь боевого офицера, который недавно напечатал в «Современнике» свои «Севастопольские рассказы», полные самой горячей «злости дня» и сатиры, а теперь как бы отрекся от самого себя...

И Хомяков решил отвечать Толстому. Он сказал, что в настоящее время «обличение» становится «священным долгом литературы». «И вы были и будете невольным обличителем», – закончил свою речь Хомяков, обращаясь к Толстому [22, с. 419].

Толстой не мог не чувствовать правды сказанного. Отчет о его речи был напечатан в университетской газете «Московские

333

ведомости» (№ 59, 1859). Должно быть, эта речь была известна Некрасову. Зная Толстого, он уже ничему не удивлялся... Впоследствии Толстой говорил о своей речи: «Я теперь не могу повторить даже, так мне все кажется смешно» [6, т. 30, с. 427].

Но в 1857 г. Толстой вместе с А. В. Дружининым, П. В. Анненковым и В. П. Боткиным собирался издавать журнал «чисто художественного направления» и даже хотел назвать его «Несовременник». Действительно, многие его размышления были «несвоевременными». Но «жреческой веры» в искусство хватило ненадолго. Кроме того, Тургенев, как более опытный литератор, предостерегал Толстого и его друзей от увлечения «отвлеченной поэзией». Он говорил о том, что такой журнал просто-напросто не соберет подписчиков и будет постоянно испытывать затруднения с материалами... Это суждение здравого смысла подкреплялось и личным опытом Толстого.

Второй урок, который Толстой вынес из журнальной жизни, состоял в том, что у каждого журнального писателя создается своя читательская аудитория. И разрыв с журналом, в котором он рекомендовал себя как автор, означает прежде всего утрату своей аудитории. Создать новую – трудно, а иногда и невозможно.

С 1858 по 1862 г., т. е. с того времени, как Толстой покинул «Современник», и до той поры, пока он не выступил как редактор и издатель своего собственного журнала «Ясная Поляна», в русских журналах не было о нем ни одной статьи [23, с. 113].

«Репутация моя пала или чуть скрипит», – признавался Толстой [6, т. 47, с. 161].

В 1860 – 1861 гг. Толстой совершил свое второе заграничное путешествие. В марте 1861 г. он приехал в Лондон и встретился с Герценом. Это было важное событие в его жизни, и он о нем помнил всегда. Герцен привлекал внимание Толстого как писатель и журналист, а главное, как человек его круга, близкий по духу и к «Современнику», но в то же время независимый и оригинальный мыслитель.

Вернувшись домой из путешествия, Толстой принял самое деятельное участие в освобождении крестьян от крепостной зависимости. Он работал в родных местах в качестве мирового посредника Крапивенского уезда Тульской губернии. Его жизненный опыт необычайно расширился. В одном из писем к Герцену он говорил, что у него есть «твердое и ясное знание моей России, такое же ясное, как знание России Рылеевым может быть в 25

году. Нам, людям практическим, нельзя жить без этого» [6, т. 60, с. 374]. В деятельности Герцена для Толстого все было интересным и важным. Но он очень сожалел, что Герцен живет в изгнании, вне России. Он чувствовал себя «практическим человеком» и торопился домой, на родину. Но само движение мысли Толстого от «Современника» к «Полярной звезде» Герцена было в высшей степени характерным.

Дело, которое затевал Толстой, представлялось ему огромным по своему значению. Он открывал школы для крестьянских детей и привлекал к работе с учениками молодых людей, студентов, исключенных из университетов, «изгнанных науки», которых Герцен призывал «идти в народ». Многие из них были давними читателями «Современника». Кое у кого хранились и потаенные книжки «Полярной звезды».

Именно здесь, в Ясной Поляне, Толстой решил основать новый журнал, рассчитывая на помощь и поддержку своих молодых сотрудников по яснополянскому школе. На большой успех издания рассчитывать не приходилось. Но Толстой хотел объединить в этом журнале «все то, что могло бы рассчитывать на успех в XIX-м и на, хотя не успех – но читателей, в XX и дальнейшем столетиях» [6, т. 61, с. 207].

Так был задуман журнал «Ясная Поляна». Это был как бы журнал будущего, и потому «Несовременник». Но по своей форме он был архаичным и напоминал «временники» XVIII в. При этом Толстой все же рассуждал как журналист, потому что думал одновременно о двух вещах: о материале и отношении к нему читателей. Материала у него, как всегда, была «гибель»... А читателей мало.

Журнал выходил в течение одного 1862-го года. Всего вышло в свет 12 номеров и 12 приложений к каждому номеру. Переплетенные вместе, все книжки журнала составляют несколько томов ежемесячного чтения, приведенного в соответствие с идеальной школьной жизнью, именно с сельской школьной жизнью. У журнала есть своя композиция, вперед заданная и обдуманная в подробностях.

Это был педагогический роман в 12 частях, имеющий форму журнального ежемесячника. Издание такого рода должно было казаться как бы «старомодным». Но самые названия статей Толстого, напечатанных в журнале «Ясная Поляна», напоминали его «Севастопольские рассказы»: «Яснополянская школа в ноябре»,

«Яснополянская школа в декабре месяце...» «Вероятно, Толстой нарочно пошел на параллелизм названий педагогических статей и названий рассказов об обороне Севастополя, чтобы подчеркнуть, что сражение происходит на самом главном фронте» [24, с. 251]. Толстой опять почувствовал себя в центре современной журнальной жизни. Он написал письмо Чернышевскому в «Современник»: «Милостивый государь, Николай Гаврилович! Вчера вышел в свет 1 номер журнала. Я вас очень прошу внимательно прочесть его и сказать ваше мнение в «Современнике». Я имел несчастье писать повести, и публика, не читая, будет говорить: «Да... детство – это мило, но журнал?» А журнал и все дело составляют для меня все» [6, т. 60, с. 416].

Чернышевский откликнулся на письмо Толстого. И написал рецензию (на 1-й и 2-й номера журнала «Ясная Поляна»), которая была напечатана в «Современнике» в 1862 г. [25]. Статья эта обманула ожидания Толстого. Здесь он должен был извлечь для себя третий урок журнальной жизни и полемики. Этот урок состоял в опасности разрыва со своей литературной средой. Он был принят в «своем» журнале как «чужой», попал в положение человека, от которого «отвыкли» и потому «не узнали» его, когда он вдруг вернулся изменившимся и не похожим на того, каким его здесь знали прежде.

Кроме того, Толстой увидел значение и роль идейных разногласий в журнальной полемике. Ему хотелось быть всегда выше этих разногласий. Но он пересекал рубежи, которые уже были «минированы» в журнальной войне литературных партий, имевших свои строгие политические цели...

Чернышевский не мог сочувствовать главной идее Толстого о возможности, например, такой «Азбуки», по которой бы учились все русские дети, «от царских до мужичкиных». Все это представлялось ему мечтанием и утопией. Об этом он прямо и открыто написал в своей рецензии на журнал «Ясная Поляна». Толстой был и удивлен, и огорчен, и обижен. Ему казалось, что «Ясная Поляна» – это отрасль «Современника», всходы его зерна на ниве народного просвещения.

Но расхождения между Чернышевским и Толстым были, видимо, не столь существенны с точки зрения предрекающих властей. 8 июля 1862 г. был арестован Чернышевский. В ночь на 8 июля был произведен обыск в Ясной Поляне. Поразительное совпадение во времени. <...>

Как складывались отношения Толстого с другими журналами после «Современника»? Это были драматические отношения, которые могут послужить темой отдельного специального исследования.

Он публиковал начало «Войны и мира» в «Русском вестнике», но свои отношения с этим журналом называл «случайными». Катков и завлекал Толстого, и угрожал ему. Так, в «Русском вестнике» в 1869 г. была напечатана статья по поводу «Войны и мира» под названием «Нигилизм в истории» [26, с. 856 – 863]. После разгрома «Современника» такое определение было очень опасным. В те дни, «когда грозил неотвратимый рок», даже рука Некрасова «у лиры звук неверный исторгала». Но Толстой не счел нужным оправдываться.

В 1871 г. к Толстому обратился кн. В. П. Мещерский с предложением сотрудничать в журнале «Гражданин». Толстой отнесся к этому предложению резко неприязненно. «Я так писать не могу, – писал он Мещерскому, – так, для каких-либо других целей, кроме удовлетворения своей потребности» [6, т. 61, с. 257].

Мещерский был известен как человек «махровых» реакционных взглядов. Он имел в виду «поставить точку» к реформам 60-х годов. «По правде же вам сказать, – пишет Толстой, – я ненавижу газеты и журналы – давно их не читаю и считаю их вредным заведением для произведения махровых цветов, никогда не дающих плода» [6, т. 60, с. 325].

Так он отвечал Мещерскому. Но это не значит, что он и в самом деле отрицал «всякую журнальную или газетную деятельность» как не дающую плода. В 1873 г. он написал свое знаменитое «Письмо о голоде». Это было его первое выступление в газете, как бы проба голоса задолго до начала той огромной публицистической деятельности, которая совпала с годами первой русской революции.

Он опубликовал «Письмо о голоде» в газете «Московские ведомости», где некогда был помещен отчет о его речи в Обществе любителей российской словесности. Теперь он мог бы называть себя «односторонним защитником правды и общей пользы» [27]. Впрочем, еще в 1856 г. Толстой говорил, что «никакая художественная струя не увольняет от участия в общественной

жизни» [6, т. 47, с. 95]. Это была одна из тех важных идей, которые именно у Толстого особенно ценил Некрасов.

«Письмо» Толстого из «Московских ведомостей» было тотчас же перепечатано в газетах «Новости», «Санкт-Петербургские ведомости», «Голос». В журнале «Дело» [28] и в журнале П. Л. Лаврова «Вперед», издававшемся в Женеве, были горячие отклики на это письмо [29, с. 173 – 329]. Это был еще один, четвертый урок, почерпнутый Толстым в журналистике. Пока он говорил об отвлеченных идеалах, понять которые могли в ту пору лишь немногие, слово его не получало настоящего отклика. А здесь он словно всех «задел за живое...»

Результат выступления Толстого в газете был весьма внушительным. По подписке было собрано 1 867 000 рублей и 21 000 пудов хлеба. Ф. М. Достоевский был поражен «новым приемом письма» Толстого и его позицией «человека совсем близкого» к народу, на которого крестьяне смотрят «как на самого себя или как на доверенное лицо» [30, с. 210].

Между тем Толстой завершал свою работу для народной школы. Вышла в свет его «Азбука», которую он считал «делом своей жизни», продолжением журнала «Ясная Поляна». Своеобразным «эпилогом» педагогических занятий стала статья «О народном образовании», которую он в 1874 г. предложил Некрасову для «Отечественных записок».

Статья была и ответом на критику Чернышевского, имени которого он не мог назвать по цензурным соображениям. Но, по существу, он доказывал, что отрицательный отзыв «Современника» на его прежние работы был недоразумением. «Я твердо уверен, – говорил Толстой в письме к Некрасову, – что если бы редакция обратила серьезное внимание на этот вопрос, то стала бы на совершенно сходную со мной точку зрения» [6, т. 62, с. 106].

Может быть, именно поэтому Толстой и не сомневался в том, что Некрасов напечатает его статью в своем журнале. «Я уверен, – продолжал Толстой – что редакция “Отечественных записок” не разойдется со мной во взгляде, который я излагаю в этой статье» [6, т. 62, с. 110].

Откуда же у него была такая уверенность? Он просто не отделил «Отечественные записки» от «Современника» и надеялся на широту редакторского взгляда Некрасова, умевшего собирать в своем издании все современное и важное в литературе и науке. В письме к Некрасову Толстой называет «Отечественные записки» «Современником». Н. Н. Гусев считал это «характерной

338

опиской» Толстого. Но возможно, что это было и сознательное «сближение понятий». «Несмотря на то, что я так давно разошелся с “Современником”, – пишет Толстой, – мне очень приятно теперь посылать в него свою статью, потому что с ним (т. е. с “Современником”. – Э. Б.) и с вами связано очень много хороших молодых воспоминаний» [6, т. 62, с. 110].

Некрасов предполагал печатать роман Толстого «Анна Каренина» в «Отечественных записках». Но в силу разных причин рукопись романа оказалась в журнале «Русский вестник». Катков пытался сделать из романа «политическое знамя» консервативной партии. Но дело окончилось полным разрывом, когда финал «Анны Карениной» был отвергнут журналом из-за несходства оценки современности у Толстого и у Каткова.

Если же сравнить то, что написано в эпилоге романа «Анна Каренина» о добровольческом движении 70-х годов, с тем, что писал об этом движении журнал «Отечественные записки», то сходство окажется поразительным. Но логика журнальной борьбы «Отечественных записок» с «Русским вестником» была такова, что весь роман был здесь отвергнут что называется «с порога» вместе с тем «политическим знаменем», которое так старательно водружал Катков над циклопической постройкой Толстого. В «Отечественных записках» уже не было той диалектической остроты и ясности, которая отличала критику «Современника».

Но вот что удивительнее всего: Толстой как будто был выше явно несправедливых оценок его творчества в «Современнике» и «Отечественных записках». Как будто он видел дальше и больше того, что было на поверхности литературной жизни. Ни слова не проронил он относительно статьи об «Анне Карениной» в «Отечественных записках». Когда через много лет один из знакомых спросил Толстого: «Вы читали рецензию о ней (т. е. об “Анне Карениной”. – Э. Б.) в “Отечественных записках?», – Толстой ответил коротко: «Нет» [13, с. 30 – 31].

Пятый урок, который Толстой вынес из журнальной жизни, состоял в том, что каждое произведение читается в контексте всего издания в целом. Зеленая обложка «Русского вестника» 70-х годов была цветом реакции. «Анна Каренина» появилась в свете этой «зеленой рампы» и была освящена демократическим райком.

«Гора родила мышь» [31, с. 268], – было сказано о романе Толстого в рецензии «Отечественных записок». Но для Толстого, по-видимому, не столь обидным было то, что его освящивали «свои»,

339

сколько то, что его «чужие» пытались выдать за своего. Когда стало ясно, что Катков «опустил перед ним шлагбаум», отказавшись печатать эпилог романа, Толстой составил телеграмму: «Прошу обратно выслать оригинал эпилога. С “Русским вестником” впредь дела иметь никогда не желаю и не буду» [30, с. 474].

...В конце 70-х годов Толстой пересматривал всю свою прежнюю жизнь и все свое творчество. В 1881 г., 1 марта, был убит царь Александр II. Потрясенный ожесточенностью политических страстей, Толстой 8 – 15 марта писал письмо новому царю, Александру III. О чем же было это письмо? О том, что с идеями 60-х годов, с людьми, которые появились в обществе «лет 20 назад», нельзя бороться насилем, что их нельзя подавить или уничтожить такими средствами. «Убивая, уничтожая их, – писал Толстой, – нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли... Их идеал есть общий достаток, равенство, свобода...» [6, т. 63, с. 52].

С этого времени начинается новый период в его творчестве, когда он после «духовного перелома» выступает в роли религиозного мыслителя, пророка смирения и самосовершенствования.

Но именно в 1881 г. он опять обратил свой взор к «Отечественным запискам». Уже и Некрасова не было в живых. Но традиции «Современника» все же существовали, несмотря ни на что. Н. К. Михайловский вспоминает, что «в 1881 году гр. Толстой сделал новую честь “Отечественным запискам”, еще раз предложив сотрудничество» [32, с. 213 – 214]. В самом деле, Толстой написал письмо Салтыкову-Щедрину. Письмо это не сохранилось, но оно известно в пересказе Щедрина. «Я получил от Льва Толстого, – сообщал он Г. З. Елисееву, – диковинное письмо. Пишет, что он до сих пор пренебрегал чтением русской литературы, и вдруг, дескать, открыл целую новую литературу, превосходную и искреннюю – в “Отечественных записках”» [32, с. 213 – 214].

Михайловский посетил Ясную Поляну и беседовал с Толстым о возможностях публикации его новых сочинений в журнале. Но в 1884 г. журнал «Отечественные записки» был закрыт. В общей системе творчества Толстого возвращение к идеям «Современника» было всегда закономерным. Толстой хотел быть и был независимым писателем. Он не признавал разделения на «своих» и «чужих». Его более всего интересовала настоящая история современности, но именно поэтому он все время встречался, иногда неожиданно для себя, с «Современником», который лучше и яснее

340

других журналов отражал историю народной жизни своей эпохи.

Уже в царствование Николая II Толстой был подвергнут «гражданской казни» в форме «отлучения от церкви». И здесь его историческая судьба складывалась по общим законам истории русской демократической литературы XIX в. Чернышевский говорил о законах классовой борьбы и оказался «отвергнутым». Толстой говорил о примирении в добре и тоже оказался «отвергнутым». Но оба они были уже неотделимы от истории народа...

8

Журнализм пронизывает и великие художественные произведения Толстого. Это другая, самостоятельная тема, которая также заслуживает внимания, когда речь идет об историческом значении его творчества и о его отношении к журналистике.

Еще в 1856 г., войдя в круг «Современника», Толстой принялся читать Белинского. «Я открыл, – записывал Толстой в своем дневнике, – что мнение Белинского заключалось главное в том, что социальные мысли справедливы, когда их пуссируют² до конца» [6, т. 47, с. 198].

В «Воине и мире» Толстой раздумывает именно над теми проблемами, которые были ведущими в «Современнике»: «Новая наука истории... не признает воззрения древних на непосредственное участие Божества в делах человечества и потому она должна дать другие ответы...» [6, т. 12, с. 289]. Это был голос «нигилиста» из «Современника»; так мог рассуждать и Базаров. «Воина и мир» написана в 60-е годы. Ее появление в литературе вызвало бурную реакцию в журналистике. Когда Тургенев узнал о закрытии журнала «Современник» в 1866 г., он признался в том, что его «старое литературное сердце дрогнуло». Значит, воспоминание об этом журнале он хранил в своем сердце... Нечто подобное мог бы сказать и Толстой. В 70-е годы, в «Анне Карениной», он снова вспомнил свою литературную молодость.

Любимый герой Толстого, Константин Левин, нарисован в романе как человек 60-х годов. Стоило Козьмичу по-барски лениво заметить: «...личный интерес не побуждал нас работать для освобождения крестьян, а мы работали», как Левин горячо стал возражать ему: «Нет! Освобождение крестьян было другое дело. Тут был личный интерес. Хотелось сбросить с себя это

² Доводят (франц.).

341

ярмо, которое давило всех, всех хороших людей» [6, т. 18, с. 260]. Крестьянский вопрос был едва ли не самой главной темой «Современника» в 60-е годы [36].

В то время, о котором вспоминает Левин, Толстой излагал свой собственный проект отмены крепостного права в письме к председателю департамента законов Государственного совета Д. Н. Блудову: «Я хотел разрешить для себя... вопрос об освобождении крестьян» [6, т. 60, с. 64 – 67]. Вопрос этот горячо обсуждался в то время и в редакции «Современника». «Нет сомнения, – справедливо отмечает Н. Н. Гусев, – что внимание Толстого к разрешению вопроса о владении крепостными крестьянами усилилось под воздействием бесед с членами редакции “Современника”» [3, с. 36].

В идеальном характере Левина есть закуска старого шестидесятника. Он рассуждает именно так, как рассуждал тогда и сам Толстой. «Я только хочу сказать, – говорит Левин, – что те права, которые меня... мой интерес затрагивают, я буду защищать всеми силами; что когда у нас, у студентов, делали обыск и читали наши письма жандармы, я готов был всеми силами защищать эти права, защищать мои права образования, свободы» [6, т. 18, с. 260].

Эти строки навеяны воспоминаниями Толстого о внезапном обыске летом 1862 г. в Ясной Поляне, когда были «затронуты» и его интересы, и интересы студентов – учителей его школы. Воспоминания тех лет не покидали Толстого.

И в 90-е годы, уже после «духовного перелома», на склоне лет, в романе «Воскресение» Толстой писал: «Герцен говорил, что, когда декабристов вынули из обращения, понизили общий уровень. Еще бы не понизили! Потом вынули из обращения самого Герцена и его сверстников...» [6, т. 32, с. 408]. Сверстники Герцена – это прежде всего круг запрещенного «Современника».

Нет, коалиция Некрасова не была неудавшейся, если ее влияние простирается так далеко и охватывает чуть ли не весь «перевал русской истории» от 1861 до 1905 г. Это была историческая коалиция русской литературы и русского освободительного движения.

Здесь ключ к проблеме журнализма в творчестве Толстого и смысл его «исторической коалиции» с журналистикой его эпохи.

*Вестник Московского университета.
Серия Журналистика. – 1978. – № 4. – С. 21 – 36.*

23. Зелинский В. Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого. – М., 1911. – Ч. I.
24. Шкловский В. Б. Собр. соч.: в 3 т. – М., 1974. – Т. 2.
25. Современник. – 1862. – № 3 («Русская литература»).
26. Щербальский П. К. Нигилизм в истории // Русский вестник. – 1869. – Т. 80, апрель.
27. Московские ведомости. – 1873. – № 207.
28. Новости. – 1873. – № 212 и 213; Санкт-Петербургские ведомости. – 1873. – № 230; Голос. – 1873. – № 234; Дело. – 1873. – № 11. – С. 26 – 27.
29. Лавров П. Л. Избранные сочинения на социально-политические темы: в 8 т. Т. 3. – М., 1934.
30. Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828 – 1890. – М., 1958.
31. Отечественные записки. – 1877. – № 8.
32. Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. – СПб., 1905. – Т. 1.

Примечания

1. Эйхенбаум Б. М. Л. Толстой в «Современнике» // Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. 70-е годы. – М., 1974.
2. Евгеньев-Максимов В. «Современник» в 40 – 50 гг. От Белинского до Чернышевского. – Л., 1934.
3. Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 г. – М., 1958. – С. 3 – 49, 84 – 169, 230 – 346.
4. Евгеньев-Максимов В. Неудавшаяся коалиция. Из истории «Современника» 50-х годов // Литературное наследство. – 1936. – Т. 25–26.
5. Плеханов Г. В. Заметки публициста «Отсюда и досюда» // Плеханов Г. В. Искусство и литература. – М., 1948.
6. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. (Юбилейное издание). – М.: ГИХЛ, 1928 – 1964.
7. Письмо Н. Н. Булича к Н. Я. Гроту от 10 января 1886 г. // Варшавские университетские известия. – 1912. – IX.
8. Киреевский И. В. Обзорение современного состояния литературы // Соч.: в 2 т. – М., 1911. – Т. 1.
9. Эйхенбаум Б. М. Поэт-журналист // Эйхенбаум Б. М. О поэзии. – Л., 1969.
10. Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. – М., 1954. (Обложка на вклейке между с. 496 и 497).
11. Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. – М., 1962.
12. Чернышевский Н. Г. «Детство и Отрочество» и Военные рассказы Л. Н. Толстого // Современник. – 1856. – № 12.
13. Дружинин А. В. «Метель», «Два гусара». Повести Л. Н. Толстого // Библиотека для чтения, 1856. – Т. 139. – Отд. V.
14. «Обязательное соглашение» // Современник. – 1856. – № 10, 11 и 12. (Обложки); Некрасов Н. А. «Проект условия» // Литературное наследство. – 1936. – Т. 25–26. – С. 359 – 361.
15. Русанов Г. А., Русанов А. Г. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. – Воронеж, 1972.
16. Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.: в 12 т. – М., 1952. – Т. X.
17. Л. Н. Толстой о литературе. – М., 1955.
18. Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. – Л., 1928. – Кн. 1.
19. Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Шестидесятые годы. – М., 1931.
20. Тургенев И. С. Собр. соч.: в 12 т. – М., 1958. – Т. XII.
21. Плеханов Г. В. Искусство и общественная жизнь // Плеханов Г. В. Искусство и литература. – М., 1948.
22. Хомяков А. С. Соч.: в 8 т. – М., 1900. – Т. II.

Тон правды

I

Если бы кто-нибудь сказал мне, что где-то в архивах нашлись письма Пьера Безухова или записки Андрея Болконского, я бы несколько не удивился.

Художественная реальность героев «Войны и мира» настолько велика, что может даже показаться странным, что Андрей Болконский не оставил записок о сражении под Аустерлицем.

Странно также, что нет в нашем распоряжении писем Пьера Безухова о пожаре Москвы...

Больше того, кажется, что сама эпоха 1812 года должна была что-то знать о Льве Толстом, своем будущем великом летописце. Ведь дороги Отечественной войны вели ее участников и через Тулу, и через Ясную Поляну.

И вот почему невольно вздрагивает сердце, когда раскрываешь впервые публикуемые воспоминания¹ Д. М. Волконского и находишь в них знакомые имена.

«6-го числа мы тут оставались за Подольском, откуда почти все жители выехали и ушли... Я решил объяснить с князем Кутузовым, пришел к нему и объявил, что я намерен ехать... в тульскую деревню Ясную Поляну...»

¹ К 175-й годовщине Отечественной войны 1812 г. в журнале «Знамя» были напечатаны мемуары ее участников: Д. М. Волконского. Дневник 1812 г. (май-декабрь), М. А. Милорадовича «О сдаче Москвы», Н. Д. Дурново. Дневник (с 29 февраля) 1812 г., И. П. Липранди. Выписка из дневника 1812 г., сентября 3-го и 4-го дня.

Стало быть, и Кутузов слышал название этой деревни, которая до поры оставалась столь же незаметной, как Бородино. 1812 год обладал нарицательной силой, называя имена, и они навеки становились священными для народа.

В дневнике Д. М. Волконского замечательна сама его интонация, домашняя, простая, неторопливая; замечателен старинный русский язык и то, что можно назвать архаическим фоном «Войны и мира».

«Ехал я в дрожках, а экипажи послал вперед, их не нагнал. Дозжик пресильной шел и сырость большая, то я остановился ночевать, а 8-го поутру нагнал повоски все и поехал далее. Слышно было, что армия наша перешла на Калужскую дорогу...»

Повествование Волконского очень близко к событиям «Войны и мира». Есть в них что-то толстовское в особом чувстве доверия к истории, столь характерном для деятелей 1812 года. «Проехал 13-го в Тулу, был у губернатора Ник. Ив. Богданова, у него же написал письмо к Маркову в армию и приложил письма к жене, прося ево переслать в Ярославль. В Туле узнал, что наша армия стоит на Калужской дороге, в Красном, что неприятель вывел из Москвы почти все войски противу армии и что готовятся дать баталию, что наши разезды кавалерийские на Смоленской дороге перехватили курьеров из Парижа и в Париж».

Нет надобности сблизать Д. М. Волконского с кем-либо из героев «Войны и мира» — он был в кровном родстве с самим автором этой великой книги.

Это родство проявилось, в частности, в безбоязненном отношении к фактам действительности, в том инстинкте правды, который составляет сущность толстовского художественного реализма.

А. С. Норов, министр народного просвещения николаевских времен, прочитав сцену «бунта в Богучарове», сказал, что вся эта история «если не вымысел», то «едва ли не есть случай единственный» [1].

Толстой не отвечал Норову. За него отвечает на его критику Д. М. Волконский, который, ничего не ведая о «Войне и мире», подтверждает, как свидетель и очевидец, правоту Толстого.

Николай Ростов, случайно захваченный во владения Болконских, был поражен тем, что он там увидел: «беззащитная, убитая горем девушка, одна, оставленная на произвол грубых, бунтующих мужиков». Как явствует из записок Д. М. Волконского, которые по необходимости должны теперь войти в комментарий к роману Толстого, речь шла именно о Ясной Поляне.

346

Дурново принадлежал к тому кругу штабной офицерской молодежи, которая ежедневно видела перед собой «сильных мира сего». Он был то, что называется человек «comme il faut». Его дневник отличается сдержанностью в выражении чувств, строгой дисциплиной мысли. Пунктуальный, уважаемый, исполнительный и деловой офицер, он сетует на то, что так много времени было потрачено на составление карт Африки и Азии, в то время как не была почему-то составлена карта Смоленска, где пришлось воевать с Наполеоном.

Князю Андрею в 1809 году казалось, что в Петербурге готовилось «какое-то огромное гражданское сражение, которого главнокомандующим было неизвестно ему, таинственное и представлявшееся ему гениальным лицом — Сперанский».

В записках Дурново упоминается о падении Сперанского в 1812 году — накануне другого, огромного военного сражения, главнокомандующим которого предстояло быть Кутузову.

Дурново отмечает в своем дневнике: «Сперанский, государственный секретарь, Магницкий и Воейков, флигель-адъютант, были арестованы за то, что имели переписку с Францией».

Ни одного «лишнего» слова. Как будто французский язык его дипломатического дневника отгораживал его от самой возможности собственных суждений относительно событий, которым он был свидетелем.

Дурново служил при Беннигсене в 1812 году. А князь Андрей был адъютантом Кутузова еще во времена Аустерлица: разница огромная! Князь Андрей «навек потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя, а попросив позволения служить в армии».

Дурново мог «встретиться» в штабных кругах не только с князем Андреем, но и с Друбецким и Бергом, о которых невольно вспоминаешь, читая его дневник.

В знаменитой сцене военного совета в Филях Толстой рисует и графа Л. Л. Беннигсена, начальника главного штаба, подчеркивая его недоброжелательное отношение к Кутузову.

То же недоброжелательство к Кутузову есть и в дневнике Дурново, служившего в штабе при Беннигсене. Этот дневник, если бы он был известен Толстому, мог бы стать источником некоторых психологических подробностей и деталей, дополняющих общую верную картину столкновения характеров на военном совете.

348

Направляясь из Подольска в Ясную Поляну, Д. М. Волконский надеялся повидать Н. С. Волконского, который ему приходился дядей, и его дочь Марию Николаевну (будущую графиню Толстую, мать Льва Николаевича).

«Я поехал один в дрожках к дяде. Заехал на дороге в кабаке узнать, тут ли дядя, нашел пьяного унтер-офицера, которой доказал мне грубостью, сколь народ готов уже к волнению, полагая, что все уходит от неприятеля. Приехав в деревню, узнал я, что дядя и с дочерью поехали тому два дни в Тамбовскую деревню княгини Голицыной, начавшиеся беспорядки и волнение в народе его понудили».

Многое в записках Волконского ново для нас, но ничто в этих записках не чуждо Толстому и его роману «Война и мир».

II

Толстой как исторический романист искал исторические краски не только в событиях, судьбах, именах своих героев, но и в самом языке эпохи.

Такие документы времени, как, например, записки Волконского, прекрасно сохранили особенности домашней усадебной речи; «неправильности» оборотов и написания замечательно передают интонацию и жест времени.

Приметой времени стал в романе Толстого и французский язык. Это был язык дворянской элиты, один из показателей ее отчужденности от народной среды, ее сословной замкнутости.

«Употребление французского языка в русском сочинении» — так обозначил Толстой одну из важных стилистических проблем «Войны и мира».

Многие критики упрекали его в «злоупотреблении» французским языком в «Войне и мире». Толстой готов был даже согласиться со своими критиками.

«Занимаясь эпохой начала нынешнего века, — пишет он, — изображая лица русские известного общества, и Наполеона, и французам, имевших такое прямое участие в жизни того времени, я невольно увлекся формой выражения того французского склада мыслей больше, чем было нужно».

Так говорил Толстой в своей статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир», напечатанной в журнале «Русский архив» в 1868 году [2]. Но вот перед нами многочисленные дневники Н. Д. Дурново, сплошь писанные по-французски.

347

На стороне Беннигсена был и сам государь император Александр I. А на стороне Кутузова — одна только девочка Малаша, внучка простого мужика Андрея Савостьянова, в избе которого остановился светлейший, но за ней была вся Россия. Малаша с печки наблюдала за «длиннополым» Беннигсеном и всей душой сочувствовала «дедушке», как она называла Кутузова...

Художественные аргументы Толстого не противоречат документам, а выявляют их человеческий смысл в образах, характерах и положениях.

Между тем Дурново заносит в свой дневник высокомерные штабные шуточки насчет старого генерала, которого он называет «одноглазым стариком». «Наш главный штаб, — пишет Дурново, — также в открытой войне с главным штабом фельдмаршала». Его занимают и развлекают «разногласия между старыми генералами», когда дело идет о спасении отечества.

Неудивительно поэтому, что он не понял и значения битвы при Бородине. 30 августа 1812 г. он записывает в своем дневнике: «Курьер привез известия из нашей Главной армии о генеральном сражении, которое было дано 26-го числа сего месяца при деревне Бородино. Утверждают, что неприятель был разбит по всем статьям, но, несмотря на победу, мы должны были отступить на следующий день. Это вызывает сомнения»...

III

Дурново по-французски, скептически и рационально, сформулировал штабную теорему Бородинской битвы, которая была опровергнута Толстым в его романическом решении на основании народного самосознания и философии русской истории.

Сомневался Дурново, сомневался Беннигсен... Что касается Кутузова, то он знал, что такое Бородино, как знали это его солдаты, покидавшие поле битвы...

«В вечер 26-го августа, — пишет Толстой, — и Кутузов, и вся русская армия были уверены, что Бородинское сражение выиграно».

Толстой внес в свой роман исторические записки и размышления — знаменитые философские отступления «Войны и мира», — и потому, что такого рода записки и размышления были целой отраслью мемуарной и исторической литературы о 1812 годе.

349

«Отступления» Толстого нигде не отступали от главного предмета повествования. Они возникают в его романе так же органично, как в дневниках и письмах современников той великой эпохи, когда все почувствовали себя участниками истории, вторгшейся в их личную жизнь. «Кроме того, в оправдание могу сказать еще то, – написал однажды Толстой, – что если бы не было этих рассуждений, не было бы и описаний».

Следует заметить еще одно важное, может быть, важнейшее обстоятельство. Дурново был честолюбив; у него были свои «мечты о славе, о битвах, о чинах, орденах». Он принадлежал к числу тех офицеров, которые были недовольны медлительностью Кутузова и всё хотели «штурмовать и атаковать». «...Он сидит в Тарутино, как медведь в берлоге, и не хочет оттуда выйти, – пишет Дурново о Кутузове. – Это нас всех приводит в ярость».

Именно о таких офицерах рассказывает Кутузов князю Андрею. «Все поскорее, – ворчливо говорит он, – а скорее на долгое выходит».

Старый фельдмаршал жалеет солдат. Он вспоминает командующего Каменского, который во время русско-турецкой войны все «штурмовал крепости», не жалея сил.

«Взять крепость не трудно, – говорит Кутузов, – трудно кампанию выиграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время».

Какой глубокий, именно военный смысл есть в этих размышлениях Толстого, который и сам был солдатом. «Война и мир» – это истинная энциклопедия народной войны. «А верь, голубчик, – говорит Кутузов, – нет сильнее тех двух воинов, терпение и время».

Новые документы, с различных точек зрения, лишь подтверждают правоту вечной книги Толстого, верной не только фактам военной истории 1812 года, но именно философии русской истории.

Нелишне заметить здесь, что в последующие годы Н. Д. Дурново, как отмечают историки, сблизился с декабристами.

IV

Толстой знал воспоминания графа М. А. Милорадовича, хотя не знал, что они принадлежат Милорадовичу. Он читал их как часть «даровитой» книги А. М. Михайловского-Данилевского о войне 1812 года [3].

350

351

книге «Пятидесятилетие Бородинской битвы, или Кому и в какой степени принадлежит честь Бородинского дня?» [4] для Толстого был важен и дорог вопрос о чести Бородинского сражения. И в черновиках «Войны и мира» сохранилась заметка: «Липранди важен (хотя литература озлобилась)».

В «Войне и мире» имя Липранди не упоминается. Но сам Липранди упомянул «Войну и мир» в одной из своих статей 1868 года. Он назвал книгу Толстого «замечательным творением».

Очерки многих исторических личностей «под эгидой романа», по словам Липранди, «говорят многое, а это многое может послужить разъяснению и очень многого».

И благо тому роману, который служит такой прекрасной цели. Но роман есть роман. Липранди, со своей стороны, стремился к разъяснению многого «под эгидой истории».

Сколько ни привлекательны новые художественные картины и образы, сколько ни заманчивы новые философские объяснения событий прошлого, история нуждается в документальных данных, в публикациях архивных материалов.

Ведь одно дело «Война и мир», а «другое дело, когда история той эпохи выпустит “роман” на свои строки, да еще и не так увлекательно рассказанный, а ведь мы не изъезжены от таких тяжких грехов»...

Но требования, которые Липранди предъявлял к истории, не противоречат целям художественных и философских исканий Толстого. Недаром он записал: «Липранди важен...»

Толстой долго искал необходимый и верный тон для своей книги.

П. В. Анненков, один из первых критиков «Войны и мира» [5], отметил одну важную особенность книги Толстого – ее внутреннюю связь с народным преданием, с дневниками, письмами, записками современников.

Он назвал весь этот домашний и народный архив, часто не учитываемый или не попадающий в поле зрения историков, «маленькой историей». Толстой не отвергал этого названия, хотя считал народный архив Отечественной войны 1812 года поистине великим.

«Мне нужны, – говорил он, – именно подробности обыденной жизни, то, что называется “petite histoire”».

Среди множества записок и дневников, которые были в распоряжении Толстого, он особенно ценил записки Дениса Да-

Милорадович был в представлении Толстого одним из героев 1812 года, наравне с Барклаем-де-Толли, Ермоловым и Платовым. Он видел в его характере именно те черты, которые принесли Милорадовичу признание и славу в армии и в народе. Было в нем что-то своевольное, смелое, удалое, что так хорошо подходило к характеру народной войны.

Описывая сражение под Красным, Толстой пишет: «Милорадович, который говорил, что он знает ничего не хочет о хозяйственных делах отряда, которого никогда нельзя было найти, когда его было нужно, “shevalier sans peur et sans reproche”, как он сам называл себя, и охотник до разговора с французами, посылал парламентариев, требуя сдачи, терял время и делал то, что ему не приказывали».

Тому, кто знает судьбу Милорадовича, этот отрывок может сказать многое. Нескольких строчек в «Войне и мире», посвященных этому «рыцарю без страха и упрека», похожи на уголок «свитка», на котором записаны его подвиги в 1812 году.

И вот этот свиток развернулся перед нами. Надо признать, что от «первого лица» рассказ Милорадовича звучит гораздо сильнее и выразительнее. По-видимому, в изложении Михайловского-Данилевского эти же события смущали Толстого каким-то несоответствием содержания и тона, получалась «фигура grotesque».

Конечно, есть нечто «гротескное» и в собственном рассказе Милорадовича о его парламентариях, спорах с противником о позиции, занятой его войсками, о переговорах на поле боя с маршалом Мюратом, королем Неаполитанским...

Это как бы часть целой серии приключенческих эпизодов, оставленных Толстым в архиве «Войны и мира», «про запас». Но и этот «запас» можно назвать «золотым». Именно в 1812 году Милорадович, по словам Н. С. Лескова, «вместе с другими сподвижниками Кутузова, в том числе и Ермоловым, становится кумиром солдат и вполне народным русским героем».

Во время работы над «Войной и миром» Толстой перечитал целую библиотеку книг, русских и иностранных. Во многих случаях он как бы впервые открывал для себя первоисточники, обращаясь к документам изучаемой им эпохи.

Ему приходилось преодолевать и предубеждения, существовавшие относительно некоторых имен. Например, имя И. П. Липранди в 60-е годы было в известной мере одиозным. Но в его

выдова, поэта пушкинских времен и героя 1812 года, любимца русской армии [6]. «Давыдов первый дал тон правды», – сказал Толстой [7, т. 15, с. 240].

И если определить в двух словах то, что роднит записки Дениса Давыдова и другие лучшие произведения русской мемуарной литературы, в том числе и ныне публикуемые записки Д. М. Волконского, М. А. Милорадовича, Н. Д. Дурново, И. П. Липранди, с «Войной и миром», то это именно тон правды, никогда не стареющий и вечно актуальный во всем, что касается исторической и современной жизни народа.

Знамя. – 1987. – № 8. – С. 129 – 134.

Примечания

1. Норов А. «Война и мир» (1805 – 1812) с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника. (По поводу сочинения графа Л. Н. Толстого «Война и мир») // Военный сборник. – 1868. – № 11. – С. 189 – 146.
2. Русский архив. – 1868. – № 3.
3. Михайловский-Данилевский А. И. Описание Отечественной войны в 1812 г. – СПб., 1839, 1843. – Ч. 1 – 4.
4. Липранди И. П. Пятидесятилетие Бородинской битвы, или Кому и в какой степени принадлежит честь Бородинского дня? – М., 1867.
5. Анненков П. В. Исторические и эстетические вопросы в романе гр. Л. Н. Толстого «Война и мир» // Вестник Европы. – 1868. – № 2. – С. 774 – 795.
6. Давыдов Д. В. Дневник партизанских действий 1812 года // Соч., 1969.
7. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. (Юбилейное издание). – М.: ГИХЛ, 1928 – 1964.

³ Незначительное происшествие (франц.). – Прим. сост.

Кому нужны черновики?

1

Говорят, что черновики не нужны никому. Кроме специалистов. «Анна Каренина», изданная в 1970 году вместе с черновиками в серии «Литературные памятники», быстро разошлась, с тех пор у букинистов почти не встречается.

А это значит, что она нашла своих постоянных читателей. Не только среди специалистов-текстологов, но и среди всех тех, кто знает, ценит и любит слово великого писателя. Каждый внимательный читатель есть по преимуществу текстолог.

Настоящая любовь к классическому художественному произведению начинается с пристрастия к его тексту, к истории его создания, если время сохранило черновики, по которым можно судить о работе художника над своим творением. В этом отношении судьба литературного наследия Толстого была уникальной. Стараниями Софьи Андреевны сохранены все или почти все его рукописи. Архив «Анны Карениной», например, – это более двух с половиной тысяч листов черновых рукописей.

2

Первую публикацию черновиков «Анны Карениной» в составе полного собрания сочинений Толстого подготовил в 1939 году проф. Н. К. Гудзий. Он написал целую монографию о работе Толстого над этим романом, в которой коснулся и проблем черновиков, трудности их разбора.

354

Э. Г. Бабаев

В черновиках эта сцена записана на полях рукописи. Там сказано, что Анна долго лежала неподвижно с открытыми глазами «и говорила (шептала) себе без звука одни и те же слова: “Поздно, уж поздно, голубчик, ах, поздно”. И ей весело было, что было поздно...».

Уже найдено было и трижды повторено едва ли не самое главное слово романа – «поздно». Но Толстой тут же, на полях рукописи, и перечеркнул всю эту сцену как неудачную вставку.

А в тексте, по-видимому, предназначенном для белого списка, остались лишь комментарии к той же теме: «Всю ночь Алексей Александрович не смыкал глаз, и когда на другой день он увидел ту же чуждость в своей жене, он решил сам с собой, что одно из главных несчастий его жизни свершилось. Как, в каких подробностях оно выразится, что он будет делать, он не знал, но знал, что сущность несчастья свершилась».

Это был замечательный по своей психологической глубине и лаконичности комментарий к той сцене, которую Толстой счел неудачной. Сцена таким образом исчезла, а рассуждение на ту же тему осталось. Толстой не мог этого не заметить. И он восстановил разрушенный текст.

Но не просто восстановил то, что было зачеркнуто им на полях, но добавил к написанному одну строку об открытых глазах, блеск которых Анна Каренина, как ей казалось, сама в темноте видела. И вся сцена обрела ту степень «ясновидения», которая так поражала Чехова в прозе Толстого.

В некоторых случаях черновики, действительно, похожи на «стеклянный улей», в котором можно увидеть чудо возникновение художественного образа.

4

Собщи мыслью Н. К. Гудзия о том, что «палеонтологический анализ» черновиков будто бы невозможен, не согласился известный текстолог В. А. Жданов. В своей книге «Творческая история «Анны Карениной», изданной в 1957 году, В. А. Жданов обосновал новый и оригинальный способ публикации черновиков, который можно назвать аналитическим. В. А. Жданов задался целью восстановить первую законченную редакцию «Анны Карениной». Он взял за основу первоначальную номинацию героев. Вначале Каренин был назван Ставровичем, Вронский – Балашовым, а Левин – Ордынцевым.

356

Главная мысль Н. К. Гудзия состояла в том, что в толще рукописей, относящихся к роману «Анна Каренина», невозможно определить «пласты текста» во времени.

Толстой не отмечал хронологии своей работы в черновиках. Поэтому трудно или почти невозможно сказать, какая страница написана раньше, а какая – позже. Н. К. Гудзий утверждал также, что и «творческая история» невозможна, потому что она становится некоей тайной, потерянной в черновиках. В его публикации рукописи были расположены по сюжету и логике развития замысла: сначала «планы» и «заметки», потом – наброски отдельных сцен и эпизодов. Публикация заняла целый том (20-й) полного собрания сочинений Толстого в 90 томах.

Такой принцип публикации черновиков, принятый и в других академических изданиях, можно назвать на языке современной технологии «принципом складирования». Каждый исследователь и читатель волен выбирать то, что нужно, или то, что ему нравится, в собственных читательских исследовательских целях.

3

Учителя, впервые открывающего том толстовских черновиков, создается впечатление, что у него на глазах чудеса совершаются. Он узнает и не узнает знакомые голоса, лица, подробности. Все это похоже на репетицию в театре с оркестром: отдельные инструменты настраиваются, мимо проносятся странные фрагменты каких-то зданий и кусок неба с облаками.

Наконец внешние впечатления успокаиваются, и мы видим самого Льва Николаевича с пером в руках и за работой. Но его работа на первый взгляд может показаться очень странной, он как будто нарочно «портит» свой роман. Есть в «Анне Карениной» одна небольшая, почти «немая» сцена, которая восхищала А. П. Чехова своей выразительностью. В ней несколько строчек.

Это сцена ночного объяснения Анны с Алексеем Александровичем Карениным: «Поздно, уж поздно, – прошептала она с улыбкой, долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых, казалось, она сама в темноте видела...»

Чехов говорил И. А. Бунину: «Боюсь Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блещат глаза в темноте. Серьезно, я его боюсь», – говорил он, смеясь и как будто радуясь этой боязни.

355

Статьи II

Если выбрать черновики, где герои действуют под своими первоначальными именами, то получится первая завершенная редакция романа, с железной дорогой, скачками и гибелью на случайной станции. Мысль простая и вполне осуществимая. И здесь тоже отчетливо видны характерные особенности работы Толстого над текстом своих произведений.

Он стремительно шел вперед, поправляя потом «неправильности при начале». Некоторые самые важные моменты сюжета Толстой находил как бы интуитивно, как будто не сознавая их значения в общей логике повествования.

В день и час приезда Анны Карениной в Москву произошло несчастье. Погиб «сцепщик», не слышавший «отодвигаемого поезда». Он стал символом и воплощением всех страхов и ужасов Анны Карениной, ее «черным человеком».

Но в первоначальном варианте никакого сцепщика не было. Там сказано, что Балашов «пробился в толпу» и принес известие о каком-то «молодом человеке», «вероятно помешанном», который целый день был на станции – «и бросился».

Потом, уже поверх готовой сцены, Толстой написал новый текст, где слова вдруг начали «кивать помимо своего смысла», указывая на тайну Анны Карениной. «Когда они уже выходили из вагона, – сказано об Анне и Вронском, – вдруг несколько человек с испуганными лицами пробежали мимо. Пробежал и начальник станции в своей необыкновенного цвета фуражке. Очевидно, что-то случилось необыкновенное...»

А случилось то, что роман, разрывая черновики, уже жил своей собственной жизнью, выбирая из первоначальных набросков то, что ему было необходимо в собственных целях, как будто помимо воли автора. Толстой только поправлял «неправильности при начале», а сюжет переходил на другие, «более широкие дороги».

5

Опыт реставрации первоначального текста, произведенный В. А. Ждановым, следует признать вполне удачным. Но его работа не отменяет публикации Н. К. Гудзия. Более свободная, хаотичная и содержательная публикация Н. К. Гудзия имеет ряд преимуществ по сравнению с более тонкой, но выборочной композицией В. А. Жданова.

357

В черновиках романа есть вполне законченные сцены и эпизоды, которые не вошли в окончательный текст романа. Их не с чем сопоставить. И в первоначальный вариант они не входили.

Вот, например, поездка Анны Карениной на цветочную выставку в сопровождении Грабе, приятеля Вронского.

«Серые кровные рысаки дружным ходом, без секунд версту, несли щегольскую, чуть покачивавшуюся на мягких рессорах игрушку коляску. Анна, прислонясь к углу и закрывшись зонтиком, представляла вид довольства, красоты и счастья, катилась к дому и не думала, а с ужасом прислушивалась к тому бессмысленному и страшному клочкотанию, которое происходило в ее душе и угрожало ей чем-то ужасным».

Во время этой поездки Анна Каренина увидела и узнала Кити, жену Левина. «Но в ту минуту, как Анна оглянулась на нее, Кити уже узнала ее и успела отвернуть свою прелестную, похорошевшую головку с особенным, ей одной свойственным, высоким и загнутым постановом головы». А Левин просто душою подошел к Анне, и «она протянула ему руку». Левин с тем всегдашним заблуждением счастливых людей начал рассказывать ей свое счастье, что ребенку их теперь лучше, что они для его здоровья жили в Москве, и теперь едут в деревню...»

– «А Вы когда едете?» – спросил Левин.

– «Я думаю, мы едем завтра», – ответила Анна.

Завтра она поедет в Обираловку... Левин этого не знает, но он чувствует странную жалость к Анне.

«Что-то она ужасно, ужасно жалка», – сказал Левин, обращаясь к Кити. И Кити «увидела тот блеск нежности, доброты, который она так любила в своем муже».

Поездка на цветочную выставку не попала в окончательный текст романа. Она осталась в черновиках как вариация на тему Анны Карениной. Но это такая вариация, которая имеет прямое отношение к общему замыслу романа.

6

Жизнь, изображенная в романе «Анна Каренина», складывалась «под угрозой отчаяния». И в этом отношении очень важна сцена встречи Левина с бешеной собакой, сцена, которая тоже не попала в окончательный текст романа и осталась в черновиках.

Левин шел в деревню проведать старика Парфена Денисы-

358

Может быть также осуществлен на весьма значительном материале и присоединительный принцип публикации вариантов сюжета и характеров, которые мы назвали «вариациями на избранные темы».

Сам собою напрашивается на признание и тематический принцип публикации черновиков, соответствующих и сопоставленных с теми или иными сценами романа. Можно, например, собрать все наброски сцены скачек в Красном селе (XXV глава II части) как историю большой романической метафоры.

Если исчерпывающая «творческая история» таких произведений, как «Анна Каренина», действительно невозможна, потому что никто не может воссоздать историю вдохновения, то, по крайней мере, тематическое сопоставление черновиков и окончательного текста позволяет почувствовать грозную силу завершенной работы великого художника, который «сопрягает понятия» по законам развернутой метафоры. «Моя скачка труднее», – говорит Каренин.

8

Итак, кому же нужны черновики? Прежде всего они нужны читателям, в том числе и текстологам. Но более всего, конечно, черновики нужны самому произведению, которое выросло из них: они составляют не только его архив, но и его арсенал.

В «Разговоре о Данте» О. Мандельштам пишет: «Сохранность черновика – закон сохранения энергетике произведения». В этом и состоит внутренняя ценность первоначальных набросков, сохранившихся в архиве писателя или же растворенных в самом произведении.

Вместе с тем черновики – это своего рода эзотерический язык творчества. Наивно думать, что мы всегда можем прочесть и понять все то, что написал или зачеркнул гений. И тут нельзя не вспомнить того незадачливого текстолога, который жаловался Н. Н. Гусеву на то, что ему не удается разобрать какой-то трудный отрывок. Н. Н. Гусев, бывший секретарем Толстого, хорошо знавший его руку, взглянул на неразборчивую страницу и сказал: – А это и не предназначалось для прочтения...

Сюжет и время. Сб. научных трудов.

К 70-летию Г. В. Краснова. – Коломна, 1991. – С. 33 – 39.

360

ча. По дороге он встретил охотника Семена и от него узнал, что Помчишка «корму не ест», «видно, что-то неладно». «Что ж, запереть», – сказал Левин. «Ушла, сударь, не дается», – ответил охотник. Левин не придавал особого значения этому разговору.

И вдруг «подле конюшни что-то белое мелькнуло ему на названной куче». «Он взглянул. Это была Помчишка, она лежала на куче, положив желтую с проточниной на носу голову на лапы».

«Неужели она бешеная?» – подумал Левин. И беспечно, еще не веря тому, что она бешеная, свистнул: «Помчишка, ферт, на!»

«Собака поднялась, шатаясь, и двинулась к нему. Движения ее показались ему странны, и мороз ужаса пробежал по спине. Он прибавил шагу, чтобы уйти от нее, и взглянул вперед, где ему можно укрыться». Но страх не проходил. Бешеная собака подвигалась к нему «медленной рысью». «На ходу он разглядел ее всю. Рот ее был открыт и полон слюны, хвост поджат. И вся эта ласковая, милая собака имела волшебное страшный вид, и чем более она приближалась, тем страшнее она становилась».

Ужас, которого никогда не испытывал Левин, охватил его, он бросился бежать своими сильными, быстрыми ногами что было духа. Он испытывал страшный ужас, но в ту минуту, как он побежал, ужас еще усилился. Как сумасшедший, влетел в двери сени управяющего и захлопнул их за собой».

Толстой рисует страх «счастливого человека», который не видел ничего вокруг. А между тем «у угла, шатаясь, стоял Семен». «В подвал ушла, батюшка», – сказал он Левину, желая успокоить его. – Ну легки вы, сударь, бегать. Чего ее бояться-то?..»

И эта вариация на тему Левина не менее важна для понимания общего замысла романа, чем поездка Анны Карениной на цветочную выставку.

Такого рода вариации на избранные темы составляют обособленную часть черновиков романа и при публикации могли бы составить некое важное дополнение не к черновикам только, а к самому роману, указывая на некоторые тайные движения авторской мысли в отвергнутых им линиях сюжета и подробностей композиции.

7

Публикация черновиков, как показывает опыт Н. К. Гудзия и В. А. Жданова, может быть основана на различных принципах, собирательных или разделительных.

359

Три курсива в «Анне Карениной» (из наблюдений текстолога)

Вромане Льва Толстого «Анна Каренина» есть слова, напечатанные курсивом. Это именно те слова, на которые особенно «налегают», то есть стараются их выделить, обратить на них внимание, герои романа. Так Алексей Александрович Каренин в день получения награды произносит слово «прекрасный»:

«Какой нынче прекрасный день, – прибавил он... особенно налегая на слово “прекрасный”» [1, т. 19, с. 87]. Курсив в прямой речи Каренина получает интонационное значение.

Выделены некоторые слова и в речи Стивы Облонского, но они имеют иное значение. Облонский продает задешево свой лес купцу Рябинину, чем очень недоволен Левин.

«Ведь это не обидной лес, – сказал Степан Аркадьич, желая словом *обидной* совсем убедить Левина в несправедливости его сомнений, – а дровяной больше» [1, т. 18, с. 175]. Но его слова несколько не рассеяли сомнений Левина, потому что он знал «граммоту о лесе» лучше Облонского.

«Обидной, станет 30 сажен. Говорит слова, а сам ничего не понимает», – думает Левин про Облонского.

В. Ф. Саводник в комментарии к «Анне Карениной» пишет, что «обидной лес – это молодой лес, годный лишь на мелкие подделки (ободья, оглобли, полозья). <...> Обидной (ободной, ободовой) лес, как молодой и низкорослый, ценится дешевле дровяного, более старого и рослого» [2, с. 383]. Выходит, что Облонский напрасно «налегал» на слово *обидной*, когда продавал дровяной лес, потому что это слово означает совсем не то, что он думал.

361

Здесь курсив имеет уже не только интонационное, но и смысловое значение.

Но курсив появляется и в авторской речи. Во второй части романа, там, где изображена Анна Каренина в петербургском свете, Толстой пишет:

«Большинство молодых женщин, завидовавших Анне, которым уже давно наскучило то, что ее называют справедливою, радовались тому, что они предполагали, и ждали только подтверждения оборота общественного мнения, чтоб обрушиться на нее всею тяжестью своего презрения» [2, т. 18, с. 183].

В данном случае курсив имеет прежде всего историческое значение и указывает на неназванный источник. А речь идет о знаменитых «Сравнительных жизнеописаниях» древнегреческого историка Плутарха.

Ссылки на Плутарха именно в великосветском кругу были признаком образованности и хорошего вкуса еще со времен Екатерины II, которая переводила «Жизнь Алкивиада».

Наряду с Алкивиадом весьма примечательным лицом исторического «пантеона» Плутарха был Аристид. В объяснениях к одной из своих торжественных од Державин пишет: «Аристид – полководец и казначей Афинской республики, прозванный *правдивым*; он заслужил себе бессмертие бескорыстною своею справедливостью. Со всем тем сей великий муж не избежал клеветы и осужден был <...>» [3, с. 393].

Именно с Аристидом и сравнивает Толстой Анну Каренину накануне ее осуждения светом. Сравнение это имеет, конечно, иронический смысл, но в нем есть и несомненная психологическая глубина, подсказанная не только историческим источником, но и житейским опытом.

Анна была самая правдивая, за что и подверглась нападкам со стороны тех, кому «наскучило то, что ее называют справедливою».

Плутарх рассказывает об Аристиде в первом томе своих «Сравнительных жизнеописаний». Во время суда каждый должен был написать на черепке имя осуждаемого. «Рассказывают, – отмечает Плутарх, – что, когда надписывали черепки, какой-то неграмотный, неотесанный крестьянин протянул Аристиду – первому, кто попался ему навстречу, – черепок и попросил написать имя Аристида. Тот удивился и спросил, не обидел ли его каким-нибудь образом Аристид.

«Нет, – ответил крестьянин, – я даже не знаю этого человека, но мне надоело слышать на каждом шагу ‘Справедливый’ да ‘Справедливый!’..» Аристид ничего не ответил, написал свое имя и вернул черепок» [4, с. 414].

Рассказ Плутарха является своего рода исторической притчей о превратностях людского суда и мнения. По своему нравственному смыслу эта притча близка Толстому, который вообще очень высоко ценил Плутарха и ставил его сравнительные жизнеописания в один ряд с народными сказаниями и летописями.

Курсив в авторской речи, там, где говорится о положении Анны Карениной в свете накануне ее осуждения и изгнания из «своего круга», был знаком опущенной цитаты из Плутарха, которая может быть восстановлена лишь в комментариях к роману.

...Часто спрашивают, как надо читать – быстро или медленно?

Это сложный вопрос, на который, как известно, даже Гете не мог ответить однозначно. Что касается художественного произведения, то чтение, по-видимому, должно быть соразмерным его сложности, так, чтобы в поле зрения попадало и то, что скрыто в глубине строки. Но такое, соразмерное, или, как еще говорят, адекватное чтение не всегда доступно даже опытному комментатору. Во всяком случае, ни в одном из существующих ныне комментариев к «Анне Карениной» Плутарх не упоминается.

Русская речь. – 1987. – № 5. – С. 47 – 49.

Примечания

1. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. – М., 1935.
2. Толстой Л. Н. Анна Каренина. – М.; Л., 1928. – Т. 1.
3. Державин Г. Р. Стихотворения. – Л., 1957.
4. Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 3 т. – М., 1961. – Т. 1.

Большая азбука, или ощущение счастья

Собирая крестьянских детей в школу, Лев Николаевич Толстой говорил: «Присылайте еще детей. И девочки пусть приходят. Мы все будем учиться!»

В этом – «Мы все будем учиться!» – и состоит главный секрет яснополянской педагогики. Толстой не только хотел учить, но и сам был полон желания учиться вместе со своими учениками. И вот почему дети так любили его и верили ему.

«Мы страдали без Льва Николаевича, – пишет один из его школьных учеников. – А Лев Николаевич без нас. Мы были неотлучны от Льва Николаевича, и нас разделяла только одна глубокая ночь. День мы проводили в школе, а вечер у нас в играх проходит, до полуночи сидим у него на террасе».

Еще в 1868 году, когда завершалась работа над романом «Война и мир», в записной книжке Толстого появилась заметка: «Первая книга для чтения и Азбука для семьи и школы с наставлением учителю графа Л. Н. Толстого 1868 года».

Это было заглавие еще не написанной новой книги, которая предназначалась именно «для семьи и школы», «для чтения» и на уроке с учителем, и дома в кругу семьи.

Такая книга, как ее представлял себе Толстой, требовала большого труда. Но на этот счет у него были свои строгие правила: «Чем легче учителю, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученикам...»

Замысел «Азбуки» рисовался Толстому на той же художественной высоте, что и «Война и мир». В 1869 году вышла в свет последняя «часть», последний том «Войны и мира».

Была весна. Толстой жил в Ясной Поляне. И как будто совсем забыл о литературе. В одном из писем Софья Андреевна рассказывает жене Фета: «Левочка целые дни с лопатами чистит сад, выдергивает крапиву и репейник, устраивает клумбы».

Каким-то таинственным образом расчистка сада и выдергивание крапивы и репейников, а также и устройство клумб связаны с замыслом «Азбуки» и являются настоящим началом работы над этой книгой. «Работаю, – пишет Толстой в письме к Фету, – рублю, копаю, пашу...» Весь 1870 год ушел на подготовительные труды, многое было уже обдумано и написано.

«Гордые мечты мои об этой Азбуке вот какие, – рассказывал Толстой в письме к А. А. Толстой, – по этой Азбуке только будут учиться два поколения русских всех детей от царских до мужички и первые впечатления поэтические получат из нее, и что, написав эту Азбуку, мне можно будет спокойно умереть». Такова была эта мысль Толстого, положенная в основу его труда.

Что касается чувства, которое руководило им, то он признавался позднее в письме к профессору С. А. Рачинскому: «Учить детей надо затем, чтобы дать им дощечку спасения из того океана невежества, в котором они плывут...»

И в другом письме он говорит о том же: «Я не рассуждаю, но когда я вхожу в школу и вижу эту толпу оборванных, грязных, худых детей с их светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит тревога, ужас, вроде того, который испытывал бы при виде тонущих людей...»

Будни яснополянской школы были далеки от идиллии.

В 1870 году Лев Николаевич осознал свой труд над «Азбукой» как исполнение неотложного долга перед народом.

В 1871 году Софья Андреевна Толстая вместе с племянницей, В. Толстой, уже переписывала набело готовые рассказы для «Азбуки».

«Мы теперь опять занялись детскими книжками, – пишет Софья Андреевна в письме к своей сестре Т. А. Кузминской, – Левочка пишет, а я с Варей переписываю. Идет очень хорошо...»

В переписывании материалов для «Азбуки» принимал участие и К. А. Иславин, дядя Софьи Андреевны. «Мы все время с дядей Костей переписывали детские книжечки...» – сообщает Софья Андреевна сестре.

Толстой всем задал работу. И работы оказалось очень много.

«Так часто собираюсь писать тебе, милая Таня, – пишет Софья Андреевна Т. А. Кузминской, – и так занята помоганием Левочке, что еле успеваю переделать необходимые дела; но все еще не скоро будут готовы эти книжечки».

И добавляет в свое оправдание: «Ты знаешь, как Левочка все отделяет и переделывает даже мелочи...»

Софье Андреевне казалось, что Толстой пишет множество «книжечек». А Толстой писал одну, цельную и законченную книжку. «Я пишу книжку, – сообщал он Т. А. Кузминской, – и кажется, будет толк... В книжечке моей будет много хорошего».

Переписывая «книжечки», Софья Андреевна стремилась добросовестно и, главное, поскорее окончить работу. «Спешили окончить к празднику», – отмечает она в письме к сестре в канун Нового 1872 года.

Что касается Толстого, то он никогда не считал свою работу оконченной: «Эта Азбука одна может дать работы на сто лет...»

Толстой предполагал напечатать «Азбуку» в типографии московского издателя Ф. Ф. Риса, где он печатал первое издание «Войны и мира». Но печатание «Азбуки» было не простым делом. В тексте надо было искусно разместить рисунки и таблицы, сам текст набрать разными шрифтами. Трудно ли это было для типографчиков, хлопотно ли для издателя, но дело не двигалось.

«“Азбука” моя кончена и печатается медленно и скверно у Риса», – отмечал Толстой в письме к Н. Н. Страхову, автору знаменитых статей о «Войне и мире». К тому же Толстой, по своему обыкновению, продолжал работать над «Азбукой» и после того, как она была отдана в набор.

«Я по своей привычке все мараю и переделываю по двадцать раз», – признавался Толстой. Тут на помощь Толстому пришел Н. Н. Страхов. Он договорился о печатании «Азбуки» в петербургской типографии К. Замыслевского.

Обычно Толстой, прежде чем выпустить в свет новую книгу, печатал ее целиком или в отрывках в одном из распространенных журналов.

Так, например, он напечатал «1805 год» – начало «Войны и мира» – в журнале «Русский вестник».

Но он заранее отказался от публикации отрывков из «Азбуки» в журналах. Ему хотелось представить читателям совершенно новую книгу в полном виде. Иначе, как полагал Толстой, «всю книгу растащат по хрестоматиям, и книга не выйдет...».

366

367

П. И. Бирюков, первый биограф Толстого, рассказывает, как он «занился астрономией и увлекся ею, и проводил целые ночи, наблюдая за звездами». У него была своя общая мысль относительно последовательности и занимательности обучения. «Не то дорого знать, – говорил Толстой, – что земля круглая, а дорого знать, как дошли до этого».

«Азбука» Толстого давала возможность ученикам почувствовать не только результат, но и поэзию познания. Он хотел «науку преподавать научно, то есть весь ход мысли при исследовании какого-либо предмета, а не сказочки».

Все это было очень похоже на Толстого. Таким он был и в «Войне и мире», таким он оставался и в «Азбуке». Не удивительно поэтому, что именно С. А. Рачинский одним из первых полюбил и оценил «Азбуку» Толстого. «Детские книги гр. Льва Толстого, – пишет С. А. Рачинский в своей книге “Сельская школа”, – следует знать всякому образованному русскому человеку... Этот великий писатель посвятил несколько лет своей жизни сельской школе, много учил в ней и многому в ней научился».

С. А. Рачинский с особенным уважением отнесся к тому, что «Толстой решил выйти за пределы художественной литературы из уважения к насущным нуждам и задачам народной школы».

«Его детские книги, – пишет С. А. Рачинский, – пригодные для детей всех сословий, – не плод художественной прихоти, а жизненное дело, совершенное с глубочайшим вниманием ко всем его практическим подробностям, с высокой простотой и смирением».

И еще одно замечание С. А. Рачинского об «Азбуке» Толстого: «Ни в одной европейской литературе ничего подобного не существует...» В беседах со своими учениками Толстому не раз случалось рассказывать о своей молодости, о службе на Кавказе, о войне... И о том, как однажды на пути в крепость Грозную он чуть было не попал в плен к горцам.

«На Кавказе тогда война была...» – сказано в самом начале его повести «Кавказский пленник», сюжет которой в одинаковой мере принадлежит и собственному опыту Толстого, и традиции русской поэзии, восходящей к Пушкину.

Но в романтической поэме Пушкина пленник назван просто Пленником, а черкешенка – Черкешенкой. Толстой называет имена. И перед нами возникают живые лица Жилина, Костылина и Дины на фоне обьятного войною дикого края.

368

369

И лишь уступая просьбам Н. Н. Страхова, он отдал два рассказа в печать до выхода в свет «Азбуки». Один из этих рассказов – «Кавказский пленник» – был напечатан в журнале «Заря», другой в таком же малораспространенном издании – «Беседа».

Может быть, именно это и склонило Толстого ответить согласием на просьбу Н. Н. Страхова, но «против воли».

Но что было замечательно. Издатель «Зари» В. И. Кашпирев отнесся к рассказу Толстого как к хрестоматийному отрывку и не заплатил ему ни гроша.

Толстой был обескуражен и увидел в этом какое-то недоброе предзнаменование: «Я жду и желаю себе для полного своего пристыжения, чтобы оба рассказа, за которые я ничего не получил, были бы напечатаны в хрестоматиях и моя бы Азбука не вышла...» Но книга вышла в 1872 году.

Н. Н. Гусев называет издание 1872 года «большой Азбукой». Это была объемистая книга (более семисот страниц), единая по своей композиции и назначению.

«Рассказать, что такое для меня этот труд многих лет, – Азбука, очень трудно», – говорил Толстой. Одной из самых трудных наук сельской школы была арифметика. Недаром известный художник Н. П. Богданов-Бельский избрал для своей картины такой тонкий психологический сюжет, как «Устный счет».

На этой картине среди своих учеников в сельской школе изображен С. А. Рачинский, современник и собеседник Толстого по многим вопросам искусства и жизни, науки, веры и знания. И Толстой в своей школе постигал все глубины и трудности устного счета.

Он придумал и смастерил для своих учеников особые счеты: скользящие по металлическим струнам деревянные ромбы различной величины и цвета.

Цифры и числа приобретали таким образом некое наглядное изображение.

В одной из своих статей 60-х годов, когда только еще устраивалась школа в Ясной Поляне, Толстой отмечал, что дети «чрезвычайно любят делать задачи с большими отвлеченными числами, без всякого приложения, увлекаясь поэзией чистой математики».

Работая над «Азбукой», Толстой почувствовал необходимость выйти за пределы художественной литературы. Но он внес поэтическое чувство и в изучение естественных наук, в изучение математики.

Драгоценный пушкинский романтический сюжет был переписан заново рукою автора «Войны и мира». И Жилин занял в галерее образов, созданных Толстым, место рядом с героями его военных повестей и рассказов.

Художественное достоинство «большой Азбуки» Толстого благодаря таким произведениям, как «Кавказский пленник», поднималось до уровня его великой прозы.

И это тотчас же было замечено современниками Толстого.

Н. Н. Страхов прислал Толстому вырезку из газеты «Всемирная иллюстрация». «Новый рассказ графа Л. Н. Толстого представляет собой в нашей литературе явление, выходящее из ряда вон, – говорилось в этой статье. – „Кавказским пленником“ окончательно разрешается вопрос о том, как следует писать для народа...» Автором этой статьи был, как об этом говорил Н. Н. Страхов, известный поэт К. К. Случевский, редактор журнала «Всемирная иллюстрация».

«Кавказский пленник», – продолжает К. К. Случевский, – написан совершенно особым, новым языком. Простота изложения поставлена в нем на первый план... Невольно изумляешься этой невероятной, небывалой сдержанности, этому аскетически строгому исполнению взятой на себя задачи...»

К. К. Случевский угадал и верно определил чисто художественную задачу, которую поставил перед собой Толстой, принимаясь за «Азбуку».

«Если будет какое-нибудь достоинство в статьях Азбуки, – объяснял Толстой свою задачу в письме к Н. Н. Страхову, – то оно будет заключаться в простоте и ясности рисунка и штриха, т. е. языка». «Рисунок без теней», как говорил Толстой о своей новой манере, особенно поражал после «Войны и мира», после ее глубокой живописи.

«Неволью изумляешься самоотвержению, с которым гр. Л. Н. Толстой отказался в своем произведении от всех обычных приемов своего творчества, всегда столь обаятельно действующих на читателя...»

Толстой был тронут участием и пониманием К. К. Случевского и благодарил Н. Н. Страхова за присылку статьи из журнала «Всемирная иллюстрация». «Я так готовился к тому, что никто ничего не поймет, что принимаю это как сюрприз», – писал Толстой.

Но его ожидал еще больший сюрприз. 12 января 1873 года в заседании II отделения Академии наук известный славист И.

И. Срезневский предложил избрать Толстого членом-корреспондентом Академии наук в уважение к его литературным и научным трудам. 7 декабря того же года в общем собрании Академии было подтверждено избрание Толстого, и он получил соответствующий диплом и письмо, подписанное неперменным секретарем К. С. Веселовским.

В ответном письме Толстой просил К. С. Веселовского передать высокоуважаемому собранию, удостоившему его этой чести, его глубокую признательность.

Казалось бы, академическое избрание достойно завершило и увенчало работу Толстого. Это был блистательный эпилог «большой Азбуки». Но Толстой испытывал тревогу и беспокойство.

Еще до выхода в свет «Азбуки» Толстой писал в одном из своих писем: «Имеют свои судьбы книги, и авторы чувствуют эти судьбы... Издавая „Войну и мир“, я знал... что она будет иметь тот самый успех, какой она имела; а теперь... не жду успеха именно того, который должна иметь учебная книга».

И предчувствие не обмануло Толстого. «Большая Азбука» не была рекомендована Министерством народного образования для начальных школ.

Против Толстого соединились и выступили представители гимназической науки, которые обвиняли его в «нетребовательности»...

В журналах и газетах появилось множество отрицательных рецензий, которые, если и не могли уронить достоинства труда Толстого, то могли повлиять на его распространение.

«Если Азбука выйдет в ноябре, не разойдется вся к новому году, – пишет он Н. Н. Страхову в октябре 1872 года, – то это будет для меня неожиданное *fiasco*».

При этом он в скобках указывает цифру – 3 600. Очевидно, это и есть тираж «Азбуки» 1872 года, который сначала разошелся понемногу, а потом лег на складе бесценным грузом.

П. А. Берс, брат Софьи Андреевны, наблюдавший за продажей книги, в феврале 1873 года сообщил Т. А. Кузминской: «Азбука приводит меня в отчаяние. До сих пор еще кое-как продавалась, а в последнее время продажа совсем прекратилась, а у меня осталось нетронутыми 2 000 экземпляров, которые я теряю надежду продать...»

Все это было известно и в Ясной Поляне. Софья Андреевна прямо называла издание «Азбуки» неудачей Толстого.

370

тора, русским стихом; 5. Руководство для обучения славянскому языку с объяснением главных грамматических форм; 6. Статьи для славянского чтения с русским переводом: выбранные места из Летописи, Жития из Четьи-Миней Макария и Дмитрия Ростовского и из Священного Писания; 7. Арифметику, от числения до дробей включительно и 8. Руководство для учителя».

Это была целая энциклопедия в одном томе. Трудно переоценить значение «Азбуки» Толстого с исторической точки зрения. Ее можно рассматривать как «капсулу времен», в которой собрано многое, что было характерно для русской жизни середины XIX века. Если бы до нас дошла только одна эта книга, то по ней мы могли бы воссоздать облик целой цивилизации.

«Азбука» была создана до «перелома в мирозерцании» Толстого, и ее не коснулось веяние позднейшего «толстовства».

В 1894 году, отвечая одной из своих читательниц, удивленной отсутствием в этой книге его излюбленных религиозных идей в духе его «христианского учения», Толстой признавался: «Рассказы, помещенные в Азбуке, написаны мною... 17 лет назад, когда христианское учение было мне совершенно чуждо, и я руководствовался в выборе рассказов для Азбуки только их понятностью и интересом для детей».

Известно, что в позднейшие годы Толстой отрекался от многих своих произведений, написанных до «перелома». Но от «Азбуки» он не отрекался никогда. С этой книгой у него были связаны воспоминания о лучших годах жизни в Ясной Поляне, об учениках его открытой для всех школы.

В 1883 году Г. А. Русанов спросил Толстого, в каком возрасте можно дать детям для чтения его трилогию «Детство», «Отрочество» и «Юность». Толстой ответил, что он не считает «Детство» необходимым чтением для детей. «Вот „Кавказский пленник“ – Жилин и Костылин – вот это я люблю, – сказал Толстой. – Это дело другое...»

Он любил свою «Азбуку» – и ту, что была издана в 1872 году, и ту «Новую Азбуку», которую составил позднее. В 1908 году Толстой записал в дневнике: «Во-первых, хорошо бы, если бы наследники отдали все мои писания в общее пользование: если уж не это, то все народное, как-то „Азбука“, „Книги для чтения“...»

Толстой ставил «Азбуку» выше «Войны и мира».

«Я знаю, – говорил Толстой в 1874 году, – что это останется одно из всего моего». И оказался неправ. «Война и мир», наря-

372

«Азбука эта имеет страшный неуспех, который ему, – пишет Софья Андреевна о Льве Николаевиче, – очень неприятен...»

Особо задевали его упреки в дороговизне книги. Сложность ее печати удорожала издание, и цена вышла два рубля за книгу.

Упреки, критика, разговоры о неуспехе, пренебрежение со стороны Министерства народного образования – все должно было вызвать в душе Толстого желание одним решительным поворотом избавиться от груза накопившихся обид.

Толстой приказал разделить «большую Азбуку» на двенадцать самостоятельных книжек: «Азбука», «Первая русская книга для чтения», «Первая славянская книга для чтения» и т. д., вплоть до «Руководства для учителя». Все эти разрозненные книжечки пошли в продажу по низкой цене и вскоре были раскуплены.

В 1874 году Толстой составил «Новую Азбуку» и переиздал «Русские книги для чтения» с дополнениями. Но это уже другая глава жизни и творчества Толстого. Что касается «большой Азбуки» 1872 года, то он ее никогда больше не переиздавал.

«Новую Азбуку» с примыкающими к ней «Русскими книгами для чтения» Толстой, наученный горьким опытом, никогда не собирал под одним переплетом. И они разошлись по хрестоматиям. Но это не значит, что Толстой отрекся от своей книги.

И Софье Андреевне он сказал в ответ на ее слова о неуспехе: «Если б мой роман потерпел такой неуспех, я бы легко поверил и помирился бы, что он нехорош. А это я вполне убежден, что „Азбука“ моя есть необыкновенно хороша...» Он передавал свою «Азбуку» на суд потомков как одну из загадок своей писательской судьбы. Это был шедевр, разрушенный рукой автора. Толстой видел, как его разрозненные книги, составлявшие единое целое, обретают известность, расходятся огромными тиражами, несоизмеримыми с тиражом первого издания.

Что же представляет собой «Азбука» 1872 года в целом?

В архиве Толстого сохранилось составленное им самим объявление для печати о выходе в свет этой книги: «1-го ноября выйдет „Азбука“ гр. Л. Н. Толстого в 4-х отдельных книгах в 160 – 180 страниц каждая, содержащие: 1. Азбуку и руководство для обучения чтению и письму; 2. Статьи для русского чтения: басни, описания, сказки, повести и статьи научного содержания...; 3. Руководство к правописанию и грамматике посредством начертания особым шрифтом различных грамматических форм; 4. Некоторые былины, изложенные правильным, по мнению ав-

371

ду с другими его художественными произведениями, осталась и вошла в число вечных книг русской литературы. Что касается «Азбуки» 1872 года, то ее как раз почти уже и не осталось, разве что только в музеях.

Она была прочитана, перечитана и зачитана ее первыми ценителями. «Азбуку» Толстого постигла та же участь, какая была у «Басен» Крылова: она стала величайшей библиографической редкостью. «Дети рвут книги», – смиренно говорил Крылов.

В 1911 году, во время «Толстовской выставки» в Москве, Румянцевский музей представил «большую Азбуку» в двух ее вариантах, слитном и раздельном. Слитный вариант особенно ценен как первое, изначальное издание «Азбуки». Она состояла из четырех книг, и каждая книга называлась «Азбука».

Для раздельного, в двенадцати книжках, варианта «Азбуки», пущенного в продажу в 1874 году, были изготовлены новые обложки. И только первая из этих книжек называлась «Азбука» – все остальные получили собственные названия.

Что же касается «большой Азбуки» в целом, то она с 1872 года больше не переиздавалась. И лишь в 1957 году она была факсимильно воспроизведена в 22-м томе полного, в 90 томах, собрания сочинений Толстого (юбилейное издание).

В 1978 году издательство «Просвещение» выпустило «Азбуку» (1872 года) и «Новую Азбуку» (1874 – 1875 годов) в одном томе. Все эти издания известны и доступны читателю.

А сама «большая Азбука» 1872 года хранится ныне в Музее Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. ... И вот я перелистываю прекрасные, не пожелтевшие от времени странички, защищенные изящными темными переплетками, и думаю об удивительной судьбе этой великой книги.

«Читать я училась по Азбуке Льва Толстого», – пишет в биографии Анна Ахматова. Ее слова могли бы повторить читатели «Азбуки», которых с годами становится все больше и больше.

Детские рассказы и повести Толстого, от «Бульки» до «Кавказского пленника», издаваемые в наши дни миллионными тиражами на русском языке и на других языках народов нашей страны и мира, – это все дети «большой Азбуки».

В «Азбуке» Толстого много удивительных историй. Но самое замечательное в этой книге – интонация нескудного повествования, ликующая интонация избытка доброй силы в душе.

373

Басни в прозе из книги Толстого для детей принадлежат к числу лучших его произведений. Как писатель для детей Толстой не имел себе равных среди своих современников. Его имя в этом отношении уникально. Он занимает место рядом с Пушкиным и Крыловым как один из основоположников русской классической литературы для детей. Конечно, и «Войну и мир» можно издавать отдельными главами («Петя Ростов», например, или «Капитан Тушин»). Эта книга хороша и в отрывках, но она имеет свой лад, свой строй и тяготеет к единству.

Без этого ощущения целостности нет и настоящего понимания частностей таких книг, как «Война и мир» или «Азбука».

Толстой был, конечно, неправ, когда ставил «Азбуку» выше «Войны и мира». Ее настоящее место не выше, но рядом с «Войной и миром», никак не ниже. «Азбука» Толстого ждет (и вполне заслуживает) переиздания, например в академической серии «Литературные памятники», с тем чтобы эта книга вернулась из Музея в наши домашние библиотеки, где она так нужна и детям и взрослым. «Ее оценят лет через десять те дети, которые по ней выучатся», – говорил Толстой о своей «Азбуке».

И он оказался прав. В наши дни можно составить целую библиотеку из работ, посвященных педагогическим идеям Толстого.

«Всякий, кому приходилось заниматься в народных школах, – пишет А. И. Елизарова, – с удовольствием, как старого знакомого, встречает книгу рассказов Толстого. Сколько воспоминаний связано с ними! Тех незабываемых воспоминаний, когда над этими книгами разгорались детские личики, когда от них поднимались глаза, горящие интересом и восторгом...»

Мнение Елизаровой должно было сыграть роль «охранной грамоты» для детских рассказов Толстого.

«Рассказы эти не менее, чем все остальные его произведения, должны войти в сокровищницу нашего слова, – пишет А. И. Елизарова в письме, адресованном в Государственное издательство (1921). – Давая ощущение счастья, как всякое истинно художественное произведение, для того круга, для которого они назначены, они своей безыскусственной прелестью приобщают к чтению...» Именно это «ощущение счастья» является причиной и основой ныне возрастающего интереса к «большой Азбуке» Льва Толстого.

Книжные сокровища книги. Из фондов Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. – М., 1989. С. 94 – 109.

«Холстомер». История повести

1

В 1856 году Толстой записал в своем дневнике: «Хочется писать историю лошади» [1, с. 78]. Он только что вернулся с войны, из Севастополя. Жил в Ясной Поляне, ездил верхом к Тургеневу в Спасское. Стояла весна. «Однажды, – вспоминает Тургенев, – ... мы гуляли вечером по выгону, недалеко от усадьбы. Смотрим, стоит на выгоне старая лошадь самого жалкого и измученного вида: ноги погнулись, кости выступили от худобы, старость и работа совсем как-то пригнули ее; она даже травы не ципала, а только стояла и отмахивалась хвостом от мух, которые ей досаждали» [87, с. 276].

Про такую лошадь и хотел написать Толстой. «Подожли мы к ней, – продолжает Тургенев, – к этому несчастному мерину, и вот Толстой стал его гладить и, между прочим, приговаривать, что тот, по его мнению, должен был чувствовать и думать. Я положительно заслушался. Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа» [87, с. 276].

Тургенев не выдержал и сказал: «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадей». Он угадал и художественную форму нового замысла Толстого: «Да, вот извольте-ка изобразить внутреннее состояние лошади». Тургенев был уверен, что Толстой прекрасно справится и с этим сложным сюжетом: «Одинаково ему доступны и психическая сторона высоко развитого человека, и высшая философская мысль» [87, с. 276].

Философская мысль Толстого опиралась на признание единства всего живого в природе и на уважение к нему. «Мы сердцем чувствуем, – писал Толстой, – что то, чем мы живем, то, что мы называем своим настоящим “я”, то же самое не только в каждом человеке, но и в лошади, и в пчеле, даже и в растении» [9, с. 50]. Именно из этого «корня» и вырос сюжет его повести о Холстомере, – «история лошади».

2

От замысла – до воплощения у Толстого часто проходили годы. Уже сложившийся замысел как бы ожидал какого-то нового впечатления, «толчка», повода, чтобы обрести свою форму. И вот Толстой встретился с А. А. Стаховичем, отставным кавалеристом, большим знатоком конного дела.

«В 1859 или 60-м году, – вспоминает А. А. Стахович, – ехал я с Львом Николаевичем из Москвы в Ясную Поляну. Дорогой рассказал я сюжет повести “Похождения пегого мерина”, которую не успел дописать покойный брат, и мне показалось, что мой рассказ заинтересовал графа» [36, с. 255].

М. А. Стахович, брат А. А. Стаховича, был известный в свое время писатель, драматург и поэт. Он хорошо знал быт воронежских конных заводов. В стихотворной повести «Былое» М. Стахович писал:

*В глуши пустынной и далекой
Среди воронежских степей
Есть хутор. Близ него широко
Лежит дорога. Там коней
Гоняют с Дону косяками... [37, с. 223].*

Ему принадлежали пьесы «Ночное» и «Наездники». Он изображал усадебных помещиков, «рысистых охотников», любителей орловских рысаков, барышников и настоящих знатоков конного дела.

Замысел его повести «Похождения пегого мерина» не мог не заинтересовать Толстого. Это была историческая повесть о знаменитом рысаке Холстомере, родившемся в 1803 году на конном заводе графа А. Г. Орлова-Чесменского. Холстомер был от природы пегим. Эту масть он получил в наследство от своего предка, «чалого иноходца из Бухары» [115, с. 218].

У настоящего орловского рысака должна быть серая в яблоках «рубашка». Холстомер «портит масть», и его «отделили от других лошадей». Это и стало причиной всех его несчастий. Впрочем, Орлов знал ему цену... Он называл лошадей именами, «которые они должны были заслужить, а потом оправдывать всю жизнь» [115, с. 61]. Настоящее имя Холстомера было Мужик I. Но Орлов прозвал его Холстомером «за длинный и просторный ход (словно холсты меряет)» [36, с. 256].

«По смерти графа, – рассказывал А. А. Стахович, – управляющий конным заводом, немец-берейтор графини А. А. Орловой, выгнчил и продал вороного Холстомера» [36, с. 255]. С этого времени и начинаются «похождения пегого мерина».

Холстомер переходит «к лихому гвардейцу времен императора Александра Павловича, который дарит его Илье, главе цыганского хора. Возил Холстомер и цыганку Танюшу, восхищавшую своим пением А. С. Пушкина» [36, с. 255]. Таким был, в общих чертах, сюжет повести, задуманной М. А. Стаховичем.

Но у Толстого другой замысел. Сюжет М. А. Стаховича ему не понравился. Все исторические подробности, а вместе с ними и те удивительные возможности, которые представлялись таким сюжетом (например, появление цыганки Тани, а, может быть, и самого Пушкина), были опущены. Хотя в первоначальном «конспекте» повести есть упоминание о Севастополе [14, с. 665], Холстомер, по-видимому, должен был попасть во время Крымской войны в осажденный город, где Толстой тогда служил артиллерийским офицером.

3

В 1861 году Толстой начал писать «историю лошади». И назвал свою повесть не «Холстомер», а «Хлыстомер». Возможно, что Толстой, называя «пегого мерина» Хлыстомером, хотел подчеркнуть его подневольность, зависимость от хлыста.

В архиве Толстого сохранились рукописи, которые позволяют восстановить «историю лошади» в первоначальном виде [34, с. 267 – 290]. Это был «опыт в фантастическом роде», как называла повесть С. А. Толстая.

Слово «фантастическое» упоминается и в самой повести. «Мерин в высоком седле, без седока, представлял странное, фантастическое для лошадей зрелище, – пишет Толстой, –

только на варке произошло в эту ночь что-то необыкновенное» [34, с. 274].

Что же произошло на варке? Произошло чудо: Хлыстомер заговорил. «Лошади теснились вокруг него, фырка и вздыхая, как будто они что-то новое, необыкновенное видели в нем, точно новое, неожиданное они слушали от него» [34, с. 272]. Так складывался общий строй повести Толстого.

Но, несмотря на фантастический колорит, в повести речь шла о самых реальных, земных и насущных делах 1861 года – о праве собственности на живые души.

«Есть люди, – говорит Хлыстомер, – которые называют других людьми своими, а эти люди сильнее, здоровее и досужнее своих хозяев» [34, с. 275].

В больших, добрых и удивленных глазах Хлыстомера мир представляется странным. Его поражают сложные и жестокие притязания собственности, которая пытается распространить свои права и на душу всего живого.

Проблема социального зла становится главной в повести. «Грех крепостного права» мучил Толстого, и он «освобождал свою совесть» и в реальных, и в фантастических произведениях, в которых находила свое отражение его драматическая эпоха.

4

Работа над «Историей лошади» продолжалась до 1863 года. «Теперь я пишу историю пегого мерина, – сообщал Толстой в письме к Фету в мае 1863 года, – к осени, я думаю, напечатаю» [3, с. 17].

*Пишите мерина,
и Ваш мерин,
я уверен,
будет, будет
беспримерен, –*

откликнулся Фет каламбуром [95, с. 253].

Написано уже было так много, что Толстой решил прочесть свою повесть в кругу близких своих и знакомых литераторов. Очевидно, это произошло в том же 1863 году. Известно, что среди слушателей был писатель В. А. Соллогуб.

5

Прошло много лет. Толстой окончил и напечатал «Войну и мир». Напечатал и «Азбуку», в которой, кстати сказать, была целая серия басен Эзопа, переведенных Толстым на русский язык. Написал он и «Анну Каренину», где есть несколько изумительных страниц о сильной, преданной и погубленной лошадке Фру-Фру...

Но мысль о «пегом мерине» не оставляла его. Никто из комментаторов как будто не заметил до сих пор, что Холстомер появляется и в романе «Анна Каренина». И появляется он в одной из самых главных сцен романа, там, где Левин беседует с «подавальщиком Федором» о смысле жизни. Разговор происходит на току. И молотилку приводит в движение тот самый мерин, историю которого еще не досказал Лев Николаевич Толстой.

Левин не может понять, чем объясняется это «общее воодушевление в работе», когда его самого тяготит мысль о смерти, когда он думает, что и его «закопают», «и пегого мерина этого очень скоро, думал он, глядя на тяжело несущую брюхом и часто дышащую раздугими ноздрями лошадь, переступавшую по убегающему из-под нее наклонному колесу» [7, с. 375].

Этот эпизод был предвестием возвращения Толстого к «истории лошади». Но прошло еще много лет, прежде чем он взялся за старую рукопись.

Наконец, наступил 1885 год. С. А. Толстая готовила к печати очередной том нового собрания сочинений Толстого. Она разыскала в архиве «Историю лошади» и попросила Льва Николаевича пересмотреть ее для издания. С того времени, как был написан первый вариант, прошло более двух десятилетий. Случай в истории литературы уникальный.

Неожиданно работа увлекла Толстого. «Лев Николаевич, – вспоминает А. А. Стахович, – говорил, что после тяжелого труда многолетних писаний философских статей, начав писать литературную вещь, он легко и вольно чувствует себя, точно купаясь в реке, размашисто плывет в свободном потоке фантазии» [36, с. 256].

Присутствовала при чтении и Т. А. Кузминская, сестра С. А. Толстой. Ей повесть не понравилась «грубостью сюжета», «натуральными» подробностями злоключений пегого мерина. Соллогуб был «старовером» по своим эстетическим вкусам. И ему эта повесть тоже не понравилась.

«Ваша милая бель-сер, любезный граф, права, – писал Соллогуб Толстому. – Она не высказала того, что сама не поняла, но предугадала по женскому инстинкту, гнушающемуся всего, что оскорбляет стыдливость и нежное эстетическое чувство. Само слово “мерин” уже неприятно» [48, с. 260].

Соллогуб стремился отвлечь Толстого от его сюжета. «Ваш талант – талант тонкого анализа и грациозных деталей. Заметьте, что по-русски нет слова для distinction, grace, comme il faut и вообще для всего, что относится до гранения слога, до полутонов» [48, с. 261].

Осторожно, но определенно Соллогуб намекал Толстому и на то, что повесть не может быть напечатана. Даже если бы такую историю написал А. Ф. Писемский, рассуждает Соллогуб, известный, по его мнению, своей «силой» и «цинизмом», то и тогда «ни одна типография не взялась бы печатать».

В письме Соллогуба была предложена схема переделки повести. «Переделать вещь можно на сто различных ладов, – пишет Соллогуб. – Предлагаю вам тот, который мне теперь приходит на ум. Назовите статью именем мерина и не повестью, а басней. Эта кличка в прозе будет нова. Описание конюха, ночи в поле, летней природы – различных лошадиных физиономий остаются, как теперь, и даже могут быть дополнены» [48, с. 261].

Но, главное, Соллогуб советовал смягчить или совсем убрать трагедию «пегого мерина»: «О несчастьи, постигшем мерина за пегую шерсть, намекается только вскользь...» И вообще не предлагал перевести все повествование в иной ряд: «автобиография животного доступна, по-моему, только при сильном юмористическом изложении» [48, с. 262].

А в повести был «вкус слез». Однако Толстой понимал, что Соллогуб сказал правду: «ни одна типография не взялась бы печатать». И он отложил рукопись. Отложил надолго.

Осенью 1863 года он уже был поглощен «Войной и миром» и как будто забыл об «Истории лошади».

6

Изменения, которые вносил Толстой в текст повести, были двух родов. Одни касались общего тона и смысла, другие – подробностей. Обличительный смысл истории пегого мерина, вопреки советам Соллогуба, не только не был сглажен, а напротив, получил еще более резкое выражение.

«Есть люди, – говорит Холстомер, – которые других людей называют своими, а никогда не видели этих людей, и все их отношение к этим людям состоит в том, что они делают им зло» [14, с. 20]¹.

Так отрывок приобрел новые смысловые оттенки.

В рукописи 1861 – 1863 годов последние главы были изложены концептивно. Характер Никиты Серпуховского лишь намечен.

Толстой видел в нем старый тип гусара, гуляки, барина, легкомысленного и простодушного человека.

Последняя встреча Хлыстомера с Серпуховским была трогательной по своему смыслу. Оба они постарели, изменились, но узнали друг друга. «Хлыстомер, вероятно, узнал своего старого хозяина; он закрыл левый глаз и глядел одним правым, и на правом глазу века его нервически дрожала». «“Постарели мы с тобой, Хлыстомерушка!” – грустно сказал Серпуховской» [34, с. 282].

Но Серпуховской был вольным или невольным виновником гибели Хлыстомера. Он, однажды назвавший его своим «другом», обошелся с ним, как с «вещью», «по праву собственности», и предал его. В редакции 1885 года меняется и освещение, и вся сцена встречи с «преданным другом», который не забыл своего хозяина.

«Вдруг над самым ухом его послышалось глупое, слабое, старческое ржание. Это заржал пегий, не кончил и, как будто сконфузился, оборвал. Ни гость, ни хозяин не обратили внимания на это ржание и пошли домой. Холстомер узнал в обрюзгшем старике своего любимого хозяина, бывшего блестящего богача-красавца Серпуховского» [34, с. 282].

Но Холстомер и в старости сохраняет «спокойствие красоты и силы». Что касается Серпуховского, то он является в конце повести жалким, нечестным, «статывает» с себя одежду... Он уже не помнит и не узнает Холстомера.

¹ Курсивом выделены слова, которых не было в первоначальной редакции.

И наконец Толстой написал сцену смерти Холстомера и Серпуховского – самую жестокую и беспощадную «параллель» своей повести. В первоначальной редакции говорилось лишь о гибели лошади; Серпуховской был еще жив... Финал повести был новой развязкой, которая придавала всему повествованию тон сурового обличения «лжи жизни».

У Холстомера и Серпуховского были разные судьбы, а участь одна.

Толстой не верил, что Серпуховской, погубивший Холстомера, может быть счастлив. И Холстомер без него потерял свою цену, и он без Холстомера превратился в ничто... Помимо всего прочего в повести есть и древняя тема «коня и всадника», которые гибнут порознь...

7

Вернувшись к работе над «историей лошади», Толстой возобновил знакомство со Стаховичем. К этому времени уже стал взрослым сын А. А. Стаховича, М. А. Стахович. «Напишите вашему отцу, – говорил ему Толстой, – что я мечтаю съездить к нему в Пальну и затеряться в его табунах» [38, с. 334].

Пальна – село в Елецком уезде Орловской губернии, имение А. А. Стаховича. Здесь у него были табуны хороших лошадей. Толстому нужны были подробности о родословной пегого мерина, о Хреновском заводе графа Орлова, мелочи конного дела, специальные термины. Но в Пальну он так и не собрался. А. Стахович передал ему через своего сына необходимые сведения.

В 80-е годы Толстой не вел дневника. И в письмах тех лет он не упоминает о «Холстомере». И лишь воспоминания современников свидетельствуют о том, что «Холстомер» был окончен летом 1885 года [38, с. 333].

Толстой всегда любил лошадей, хотя и не очень хорошо разбирался в тонкостях конного дела и в особенности коннозаводства. Но теперь он сам становился «иппологическим писателем», перечитывая, дополняя и поправляя свою старую рукопись.

Многие страницы были перенесены в окончательный текст почти без изменений. Конь по кличке Милый удался сразу. «Милый был верховой, и впоследствии на нем ездил император, и его изображали на картинках и в статуях. Тогда он еще был простой

Холстомер у Толстого – законченный, художественный тип страдающей и мудрой души. Он прошел через страшные испытания: «меня мучили и калечили», – говорит Холстомер. Настоящая жизнь Мужика I, о котором рассказывал Толстому А. Стахович, была иной. Достаточно сказать, что было у настоящего Холстомера и потомство на том же конном заводе Орлова...

Толстой «сгустил краски», но этого требовал его замысел. Если бы М. Стахович написал повесть, она была бы иной по тону и складу. Толстой создавал философское иносказание жизни и смерти Холстомера.

Повесть посвящена памяти М. А. Стаховича. «Сюжет этот, – пишет Толстой, – был задуман М. А. Стаховичем, автором “Ночного” и “Наездников”, и передан автору А. А. Стаховичем». Однако не следует преувеличивать роли М. А. и А. А. Стаховичей в творческой истории «Холстомера», несмотря на любезное авторское посвящение, замысел, «истории лошади» существовал у Толстого еще до встречи с А. А. Стаховичем.

8

Софья Андреевна торопила Толстого. Она хотела напечатать повесть в очередном томе нового собрания его сочинений. А Толстой не был уверен, что цензура пропустит его «Холстомера» в печать. И у него были основания для беспокойства.

Нельзя сказать, что Толстой совсем не считался с требованиями цензуры. Так, например, из первоначального текста «Хлыстомера», где речь шла о «низком и животном инстинкте собственности», была вычеркнута фраза о государе: «Государь говорит: “Государство мое”, но государство это не содействует нисколько его личному благосостоянию. Он не имеет вследствие этой собственности ни большей силы, ни большего ума, ни большего образования, ни главного, что дороже всего каждому животному, – ни большего досуга» [34, с. 279].

Однако, несмотря на авторские купюры, повесть оставалась смелой и резкой по своему обличительному тону. Нельзя было и думать об издании ее отдельной книгой. Но то, что запрещалось к выпуску в отдельном издании и по общедоступной цене, иногда разрешалось к печатанию в составе, например, собрания сочинений, по дороговизне своей недоступного широкому кругу читателей.

соунок, с глянцевиной нежной шерстью, лебединой шейкой и, как струнки, ровными и тонкими ногами» [14, с. 17].

«Бурая кобылка» тоже вышла отлично. «Шалуныя была в особенном игривом расположении в это утро. Веселый стих нашел на нее так, как он находит и на людей» [14, с. 10].

Толстой намеренно сближает человеческий и природный миры не только в художественных, но и в философских целях.

Название повести изменилось.

«Холстомер» – это слово звучало спокойнее, чем «Хлыстомер». Да к тому же оно точнее определяет характер главного «героя» повести.

Таким образом из самого заголовка повести был вытеснен намек на хлыст. Возможно, что на этом настаивал А. Стахович. Дело в том, что «в продолжение столетия на всех русских рысистых ипподромах не знали употребления не только хлыста, но даже жесткого посыла вожжей» [115, с. 251].

Но Холстомер лишь до поры был избавлен от хлыста. Тем ужаснее было для него открытие, что одни люди наказывают других «своих» людей тем самым хлыстом, употребление которого они сами считают предосудительным даже по отношению к «скотине» («скотину жалче человека»).

А Холстомер именно жалеет человека. Сначала был высечен один конюх. И Холстомер с ужасом замечает «выражение его спины», его «длинного и печального лица». Потом тому же мучению был подвергнут другой конюх. И он пришел со своей обидой к Холстомеру. И вот тогда Холстомер узнал «вкус слез».

Наконец, настал и его черед. Прежде, бывало, он понимал «чуть заметное движение вожжами». А теперь Серпуховской гнал его во весь дух, по своей прихоти, вдогонку за «своей», сбежавшей от него любовницей. «Чего никогда не бывало, – рассказывает Холстомер, – меня стегали кнутом и пускали вскачь». От неожиданности он сделал сбой. Хотел поправиться, но князь кричал: «Валяй!» «И свистнул кнут, и резнул меня...»

В этом новом повороте мысли открывались целые миры сострадания и печали. У Холстомера свое отношение ко всем, с кем он сталкивается в своей жизни. Он помнит Серпуховского, любит кучера Феофана, жалеет табунщика Нестера: «Пусть хорохорится, бедняк...» «Лошади жалеют только самих себя, – рассуждает Холстомер, – и изредка тех, в шкуру кого они себя легко могут представить».

На это и рассчитывала С. А. Толстая, когда везла рукопись «Холстомера» в столицу. Интерес к каждому новому произведению Толстого был огромным. И ей удалось получить цензурное разрешение на издание повести в третьем томе нового собрания сочинений Толстого. «Пусть войдет в посмертное издание», – говорил Толстой о «Холстомере», как бы утешая себя и Софью Андреевну на случай неудач ее хлопот в цензуре [38, с. 334]. Но на этот раз все обошлось благополучно. И «Холстомер» впервые появился в печати в 1885 году [10, с. 503 – 553].

В первом издании «Холстомер» имел подзаголовок: «История лошади» и дату: «1861 год». Софья Андреевна считала, что повесть от начала до конца была задумана и в большей своей части написана в начале 60-х гг. И была права. Действительно, большая часть «Холстомера» написана в 1861 – 1863 гг.

Но в 1885 году все же была проведена значительная правка текста, появились новые главы, финал повести, придавший всей этой истории новый смысл. Вопрос о датировке получил неожиданное практическое значение в последующие годы.

В 1891 году Толстой передал права собственности на свои сочинения, написанные до 1881 года, Софье Андреевне. Те же сочинения, которые были написаны после 1881 года, то есть после «духовного перелома», Толстой печатал безвозмездно, отказываясь от денег за свои литературные труды.

Софья Андреевна поэтому считала «Холстомера» своей «собственностью» и печатала его только в собраниях сочинений Толстого, которые она издавала на свой счет. Когда в 1891 году к ней обратилась писательница В. Искуль с просьбой разрешить ей напечатать повесть отдельным изданием для народа, Софья Андреевна ответила отказом [51, с. 170]. Этот отказ встревожил и огорчил Толстого [4, с. 4]. Он хотел видеть свою повесть в общедоступном издании, а не только в дорогостоящем собрании сочинений. Вот теперь-то и понадобилось напоминание о том, что повесть окончена в 1885 году. И Софья Андреевна должна была уступить.

В 1892 году редакция журнала «Колосья» решила выпустить отдельной книгой произведения Толстого, написанные после 1881 года. Редактор журнала А. Багалин, печатавший в своем издании «литературные новинки», подал прошение в цензуру. Но тотчас же последовало распоряжение об исключении из повести «тенденциозных» рассуждений и картин. Председатель

управления по делам печати Кожухов отметил в повести Толстого мысль о том, «что собственности не должно быть, что это понятие ложное». «Животное стоит выше людей уже по одному тому, – излагал содержание повести цензор, – что у них нет понятия мой, твой, свое. В этом, автор убежден, состоит главное отличие людей от животных». «Место это явно социалистического характера и пропущено быть не может», – таково было заключение цензуры [44, с. 95 – 96].

И повесть появилась в сокращенном виде, с пропусками «мест явно социалистического характера» [12, с. 175 – 209]. Та же участь постигла «Холстомера» и в издании 1897 года [13, с. 128 – 196]. И здесь те же отрывки, касающиеся и Холстомера, и Серпуховского, запрещенные цензурой, были вымараны из текста.

9

«Холстомер» писался в разные годы, с 1861 по 1885 год. Это не значит, конечно, что Толстой непрерывно работал над повестью. Он годами не притрагивался к рукописи. И все же, когда повесть была окончена, Толстой однажды высказал некоторое недовольство своей работой.

Толстой начал «Холстомера» вслед за «Севастопольскими рассказами», а оканчивал после «Исповеди». Последние строки повести были продиктованы суровым «духом отчуждения и осуждения».

В записках яснополянского домашнего учителя И. М. Ивакина есть важный эпизод. «Читал в рукописи повесть Льва Николаевича „История лошади“, – отмечает Ивакин в записи 1885 года. – Перед обедом ходил ко Льву Николаевичу в кабинет благодарить его – в такой восторг привела меня повесть» [42, с. 64]. Ивакин был одним из первых читателей «Холстомера».

«Рассказ написан был очень быстро, – сказал Толстой в разговоре с Ивакиным, – но так и остался и останется неотделан – нечего делать! В голове у меня, сколько помню, была ужасно ясная, живая картина смерти мерина, очень она меня трогала! Но параллель кажется искусственной» [42, с. 65].

В «Холстомере» этой «параллели» – смерти Серпуховского – не было. И то, что она появилась в «Холстомере», свидетельствует о том, что в поздние годы, когда Толстой проповедовал «смирение» и «самосовершенствование», его обличения бывали

тут беспощаднее всего» [82, с. 146]. И Серпуховского Бунин относит к той же «породе Холстомеров»: он и коня, и самого себя «загнал»: «размах кончился...» На этом сближении и основано художественное единство повести.

По непосредственному впечатлению, которое повесть производит на читателей, она занимает место в ряду великих творений Толстого. Недаром М. Горький, впервые увидев Толстого, вспомнил «Казак», «Войну и мир» и «Холстомера». И его охватило чувство радости и удивления оттого, что есть на земле такой писатель, которому раскрыта книга жизни с ее тайнами и вечными законами. «Я был рад, и гордился тем, что видел Толстого», – пишет Горький [85, с. 50].

Читательские отклики являются как бы продолжением творческой истории повести. Здесь начинается ее самостоятельная жизнь. Повесть входила в круг народного чтения, пробуждая в новых и новых поколениях чувство удивления перед мудрой силой жизни и искусства. В 1887 году художник Н. Е. Сверчков подарил Толстому две акварельные картины по мотивам повести: «Холстомер в молодости» и «Холстомер в старости». Обе эти акварели и по сей день украшают стены московского музея Толстого в Хамовниках. В 1897 году «Холстомер» был напечатан с иллюстрациями Н. С. Самокиша. В 1903 году итальянский художник Марчини прислал Толстому фотографию со своей картины «Холстомер», написанной для конкурса в Милане. Толстой благодарил художника и находил его картину «очень поэтичной» [6, с. 171].

Из иллюстраций к «Холстомеру» можно составить большой альбом. Сами попытки пластического решения темы повести в работах современных художников Рудакова, Савицкого, Пластова всегда заключают в себе часть читательского восприятия.

Об этом свидетельствуют и многочисленные работы ученых, историков, исследователей творчества Толстого, относящиеся к повести «Холстомер». Об этой повести пишет в «Истории русского коннозаводства» проф. В. О. Витт, ей посвящены многие страницы литературно-критических исследований Н. Н. Гусева, Б. М. Эйхенбаума, В. Б. Шкловского, Л. Д. Опульской. Чрезвычайно интересны высказывания о «Холстомере» в статьях и заметках С. Антонова, А. Афиногенова, Ю. Нагибина, М. Рыльского, С. Эйзенштейна и др.

Своеобразным опытом нового прочтения повести Толстого и отражением глубокого интереса к ее нравственным идеалам яв-

очень резкими. Так что писатель сам иногда бывал удивлен результатами своего труда.

Уже в 1887 году «Холстомер» был переведен на французский язык [5, с. 207]. Это был первый перевод, за которым последовали и другие; повесть вскоре завоевала известность и за рубежом.

В 1889 году Толстой получил письмо из Парижа от Романа Роллана, который тогда «проходил стаж преподавателя» в лицее Людовика Великого. «На уроках риторики я прочел отрывки из „Холстомера“, „Войны и мира“, „Севастопольских рассказов“, – писал Ромен Роллан [67, с. 73].

Не только литературные, художественные достоинства привлекали внимание читателей к повести Толстого, но и ее научное содержание. В этой повести Толстой выступил как выдающийся натуралист, хорошо знающий жизнь природы. Известный естествоиспытатель и ученый Э. Геккель в интервью, данном газете «Русское слово» в 1910 году, говорил: «Смерть Ивана Ильича» и «Холстомер» мне открыли глубину Толстого. К стыду своему, я меньше знаю Толстого-философа, нежели Толстого-художника» [67, с. 415].

Среди первых читателей повести был и П. И. Чайковский. В своем дневнике 1886 года под впечатлением от «Холстомера» он записал: «грустно, плакать хочется...» [96, с. 389]. А. П. Чехов считал, что «Холстомер» по своему непосредственному художественному смыслу выше многих отвлеченно-философских произведений Толстого. Его особенно поражала в повести «бурая кобылка», которая дразнила и обижала Холстомера, потому только, что «была молода, хороша и сильна», и голос ее «грустно и молодо отзывался лугом и низом...» Характер ее обрисован так живо и ярко, что она, вместе с Холстомером, становится бессмертным созданием искусства. Так что многие рациональные рассуждения Толстого, наподобие его знаменитого «Послесловия» к «Крейцеровой сонате», как говорил Чехов, «не стоят одной кобылки из „Холстомера“» [99, с. 270].

Повесть вновь заставила всех почувствовать крепость и долговечность искусства Толстого. В 1907 году А. И. Куприн посвятил свой рассказ «Изумруд» «памяти несравненного рысака Холстомера» [88, с. 121].

И. А. Бунин считал повесть «Холстомер» одним из самых суровых произведений Толстого. «Если уж говорить о беспощадности Толстого в писании „земных историй“, то, несомненно, он

ляется постановка Г. А. Товстоноговым пьесы «История лошади» на сцене Ленинградского Большого драматического театра им. М. Горького (1975). Успех спектакля во многом определен талантливой игрой замечательного актера Е. А. Лебедева.

«Холстомер» – книга великих страданий. Но не об одних страданиях и жестокости говорит эта книга. Если бы дело состояло только в том, чтобы рассказать о злоключениях «пегого мерина», Толстой, должно быть, не стал бы ее писать. У него была другая, более высокая мысль, возникавшая из глубины его поэтического мира.

В дневнике Толстого есть фраза, которая служит лучшим авторским комментарием к повести. «Нет, этот мир не шутка, – пишет Толстой 18 июля 1894 года, – не юдоль испытаний только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто будет после нас жить в нем» [8, с. 121].

Эта глубокая и поэтическая дума о природе и сообщает повести особенную свежесть и силу. «Холстомер» принадлежит к числу вечных книг русской классической литературы не только потому, что в ней есть осуждение зла и бессердечия, но и потому, что она вся посвящена обоснованию и защите добра в отношении к природе, к человеку, ко всему живому на земле.

Можно сказать, что ни одно другое произведение Толстого не включает в себе столь важных уроков любви, как «Холстомер». В повести есть правда, которая учит по-своему. И чем дальше уходит от нас в глубину времен та эпоха, которая отразилась в повести, тем дороже становится нам нравственный смысл произведения.

В. В. Вересаев был поражен тем, что говорил Толстой об уважении к земле, к воздуху, к облакам: «Уважение не к кому-нибудь, не за что-нибудь, а просто уважение... Уважение вот к этому лопуху у частокола за то, что он растет, к облачку на небе, к этой грязной, с водою в колеях дороге... Когда мы, наконец, научимся этому уважению к жизни?..» [83, с. 67].

И хотя эти слова не относятся прямо к «Холстомеру», они могут быть указанием на одну из важнейших граней внутреннего смысла этой повести.

Библиографические списки

Дневники, письма и произведения Л. Н. Толстого, связанные с «Холстомером»

1. Дневники 1854–1857 гг. – Т. 47. – С. 78: первое упоминание об «истории лошади» (31 мая 1856 г.).
2. Дневники и записные книжки 1858–1880 гг. – Т. 48. – С. 52–53: недовольство работой («мерин не пишется»), кроме «удачной сцены сечения и бега» (3 марта 1863 г.).
3. Письма 1863–1872 гг. – Т. 61. – С. 17: Толстой сообщает в письме к А. А. Фету о том, что пишет «историю мерина» (1 мая 1863 г.).
4. Дневники и записные книжки 1891–1894 гг. – Т. 52. – С. 4: недовольство Толстого, вызванное отказом С. А. Толстой разрешить печатание повести в отдельном издании для народа (15 января 1891 г.).
5. Письма 1897 г. – Т. 70. – С. 207: в письме к В. В. Стасову указание на первый французский перевод «Холстомера» (Paris, 1887).
6. Письма 1903 г. – Т. 74. – С. 171: благодарственное письмо итальянскому художнику Марчини за его иллюстрацию к «Холстомеру».
7. Анна Каренина. – Т. 19. – С. 375: упоминание о «пегом мерине».
8. Дневник 1894 г. – Т. 52. – С. 121: об отношении к природе.
9. Путь жизни. – Т. 45. – С. 50: о единстве всего живого. Первые издания повести, черновые редакции и рукописи.
10. Собр. соч. – 5-е изд. – М., 1885. – Ч. 3. – С. 503–553: «Холстомер» (первая публикация полного текста).
11. Собр. соч. – 8-е изд. – М., 1889. – Т. 3. – С. 325, 350–351: по этому изданию цензор Кожухов в 1892 г. отмечал места, которые не могли быть допущены к публикации в отдельном издании.
12. Соч. – СПб.: Изд. ред. журн. «Колосъ», 1892. – С. 175–209: текст «Холстомера» с цензурными изъятиями («Ночь вторая», от слов: «Разве отдали ему пегого-то?» до слов: «Я принадлежу коношному»; кроме того, опущены заключительные строки повести, от слов: «Ходившее по свету...»). 1-е изд. в отдельном сборнике.
13. Соч. из последнего периода. – СПб.: Изд. Г. Гопле, 1897. – С. 128–196: «Холстомер» с цензурными изъятиями. 1-е иллюстр. изд. (худ. Н. С. Самокиш).
14. Холстомер // Полн. собр. соч. – Т. 26. – С. 477–487: варианты к «Холстомеру»; с. 664–665: конспект «Истории лошади». Первая публикация черновиков повести «Холстомер».
15. Хлыстомер // Литературное наследство. – 1961. – Т. 69. – Кн. 1. – С. 267–290: «Хлыстомер», первая публикация ранней редакции (1861–1863) «Истории лошади».

390

Отдельные советские издания повести «Холстомер»

- Повесть публиковалась в многотомных собраниях сочинений Толстого, в составе сборников его повестей и рассказов и выходила в свет отдельными изданиями:
16. М.: ЛИТО Наркомпроса, 1919. – 63 с.
 17. М.; Л.: Госиздат, 1927. – 64 с.
 18. 2-е изд. – М.; Л.: Госиздат, 1929. – 64 с.
 19. М.; Л.: Academia, 1934. – 68 с., 1 л. ил. Автोलитогр. М. С. Родионова.
 20. Иваново: Госиздат обл., 1937. – 52 с.
 21. М.: Жур.-газ. объединение, 1937. – 62 с. (Б-ка «Огонек»).
 22. Иркутск: Вост.-Сиб. изд-во, 1937. – 82 с.
 23. Саратов: Обл. изд-во, 1945. – 63 с.
 24. Чита: Обл. изд-во, 1950. – 69 с.
 25. М.: Гослитиздат, 1951. – 38 с., 10 л. ил. Ил. Г. К. Савицкого.

Творческая история повести

26. Гин М. М. Литература и время: [Исслед. и статьи]. – Петрозаводск, 1969. – С. 187–204: «Судьба одного сюжета» – о творческой истории сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Коняга» и «Холстомера» Л. Н. Толстого.
27. Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1855 по 1869 гг. – М.: Изд-во АН СССР, 1957. – С. 598–602: о первоначальных редакциях «Холстомера».
28. Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1881 по 1885 гг. – М.: Наука, 1970. – С. 478–484: о завершении работы Толстого над повестью «Холстомер».
29. Мышковская Л. М. Работа Толстого над «Холстомером» // Красная новь. – 1935. – № 11. – С. 178–200.
30. Мышковская Л. М. Л. Толстой: Работа и стиль. – М.: Сов. писатель, 1939. – С. 173–285: о работе Толстого над «Холстомером».
31. Мышковская Л. М. Мастерство Л. Н. Толстого. – М.: Сов. писатель, 1958. – С. 330–368: о работе Толстого над «Холстомером».
32. Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – С. 285–288: рукописи «Холстомера».
33. Опульская Л. Д. Проблема датировки произведений // Основы текстологии. – М., 1962. – С. 187: о датировке «Холстомера».
34. Опульская Л. Д. Творческая история повести «Холстомер»: Ранняя редакция 1861–1863 // Литературное наследство, 1961. – Т. 69. – Кн. 1. – С. 257–266; 267–290: реконструкция текста первоначальной повести Толстого «Хлыстомер».
35. Страхов Н. Н. Письмо к Н. Я. Данилевскому от 18 июня 1885 г. // Русский вестник. – 1901. – № 3. – С. 137: о посещении Ясной Поляны и чтении рассказа «Лошадь» («Холстомер»).

391

36. Стахович А. А. Несколько слов о «Холстомере», рассказе Л. Н. Толстого // Литературный вестник. – 1903. – Кн. 7/8. – С. 255–257: об источниках («Похождения пегого мерина» М. Стаховича) и истории писания «Холстомера».
37. Стахович М. А. Пальна. Былое // Поэты 1840–1850-х годов. – Л.: Сов. писатель, 1872. – С. 223, 236–257.
38. Стахович С. А. Как писался «Холстомер» // Летописи Гос. лит. музея. – 1938. – Кн. 2. [Л. Н. Толстой]. – С. 332–336: о завершении работы Толстого над повестью «Холстомер».
39. Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. – Л.; М.: Гос. изд-во худож. лит., 1931. – Кн. 2. – С. 154–177: повесть «Холстомер», ее истоки, творческая история и значение в литературе 60-х гг.

История печатания повести

40. Апостолов Н. Н. Лев Толстой и русское самодержавие. – М.: Госиздат, 1930. – С. 119: о цензурных преследованиях «Холстомера».
41. Бухгейм Л. Письма Соллогуба // Письма Толстого и к Толстому. – М.; Л., 1928. – С. 259–260: публикация письма В. А. Соллогуба к Толстому о «Холстомере», предположение о том, что повесть Толстого предназначалась для (неосуществленного) журнала «Старовер».
42. Ивакин И. М. Записки // Литературное наследство. – 1961. – Т. 69. – Кн. 2. – С. 64–65: отзыв Толстого о «Холстомере».
43. Жезлова Е. Примечания к «Холстомеру» // Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 12 т. – М., 1958. – Т. 10. – С. 492.
44. Ковалев И. Ф. Борьба царской цензуры с произведениями Л. Н. Толстого // Сов. Архивы. – 1970. – № 4. – С. 94–96: материалы управления по делам печати о «Холстомере».
45. Кондратьев М. Примечания к «Холстомеру» // Толстой Л. Н. Избр. произв.: в 2 т. – Л., 1964. – Т. 2. – С. 713–726.
46. Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. – СПб., 1905. – Т. 1. – С. 213–214: о посещении Ясной Поляны и переговорах относительно печатания «Холстомера» в «Отечественных записках».
47. Розанова С. А. Примечания к «Холстомеру» // Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 20 т. – М., 1964. – Т. 12. – С. 469–510.
48. Соллогуб В. А. Письмо к Толстому от 20 марта (1863 г.) // Письма Толстого и к Толстому. – М.; Л., 1928. – С. 260–262: критический отзыв о повести, сомнение в возможности ее публикации и план переделки.
49. Срезневский И. Примечания к «Холстомеру» // Толстой Л. Н. Полн. собр. худож. произв. – М.; Л., 1928. – С. 514–534.
50. Толстая С. А. Письма Т. А. Кузминской от 18 янв. и 23 сент. 1885 г. (Архив Гос. музея Л. Н. Толстого в Москве): о работе Толстого над повестью «Холстомер» в 1885 г.

392

51. Толстая С. А. Дневники. 1860–1891. – М.: Изд-во Сабашниковых, 1928. – С. 170: отказ С. А. Толстой от публикации «Холстомера» в издании «для народа» (записи 16 янв. 1891 г.).
52. Эйхенбаум Б. М. Примечания к «Холстомеру» // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. – М., 1936. – Т. 26. – С. 663–672: история печатания «Холстомера».

Идейно-художественные особенности повести

53. Афанасьев В. Александр Иванович Куприн. – М.: Гослитиздат, 1960. – С. 192: об «Изумруде» Куприна и «Холстомере» Толстого.
54. Бойко М. Н. Рассказы Льва Толстого // Толстой Л. Н. Рассказы. – М., 1966. – С. 14–15: о социальном смысле «Холстомера».
55. Выход С. П. Л. Н. Толстой. Очерк творчества. – М.: Гослитиздат, 1954. – С. 76–105: «Холстомер» в ряду повестей 60-х гг.
56. Ванслов В. В. Проблема прекрасного. – М.: Госполитиздат, 1957. – С. 115: об аллегоричности «Холстомера».
57. Волков А. Творчество А. И. Куприна. – М.: Сов. писатель, 1962. – С. 285–290: об условности в повести Толстого «Холстомер» и ее отличии от рассказа Куприна «Изумруд».
58. Гриб П. Я. Тема природы в рассказе «Три смерти» и в повести «Холстомер» Л. Н. Толстого. Сравн. характеристика // Вопросы литературы. – Красноярск, 1971. – С. 34–46: об «извечных законах жизни» и сюжете повести «Холстомер».
59. Громов Л. П. В творческой лаборатории Чехова. – Ростов н/Д: Ростовск. гос. ун-т, 1963. – С. 76–77: реминисценции из «Холстомера» в повести Чехова «Дуэль».
60. Дмитриев В. А. Реализм и художественная условность. – М.: Сов. писатель, 1974. – С. 137–150: художественная условность в повести «Холстомер».
61. Егоров А. Искусство и общественная жизнь. – М.: Сов. писатель, 1959. – С. 186: «Холстомер» в ряду произведений «животного эпоса» мировой литературы.
62. Зелинский К. Тема современности и проблема литературной эстетики // Вопросы литературы. – 1959. – № 4. – С. 77–78: об авторских комментариях в повести «Холстомер».
63. Зелинский К. Октябрь и национальные литературы. – М.: Худож. лит., 1967. – С. 285–287: художественный анализ в «Холстомере».
64. Кадинский А. Б. Проблематика цикла повестей Л. Н. Толстого 80-х годов // Уч. зап. Горьк. гос. пед. ин-та. – 1961. – Вып. 37. – С. 122–154: о социально-исторической проблематике повестей «Смерть Ивана Ильича», «Холстомер» и др.
65. Костова М. Три неоконченных произведения В. М. Гаршина // Рус. лит. – 1962. – № 2. – С. 178: рассказ Гаршина «Так начинались

393

- мои несчастья» (о судьбе собаки по имени «Арапка»), «Каштанке» Чехова и «Холстомере» Толстого.
66. *Кулешов Ф. И.* Творческий путь А. И. Куприна. – Минск: Изд-во М-ва высш. средн. спец. и проф. образования БССР, 1963. – С. 380 – 381: об «Изумруде» Куприна и «Холстомере» Толстого.
67. Лев Толстой и зарубежный мир // Литературное наследство. – 1965. – Т. 75. – Кн. 1. – С. 73: Роман Роллан о «Холстомере»; – Кн. 2. – С. 415 – 416: Э. Геккель о «Холстомере».
68. *Лощинин Н. П.* Повесть Л. Н. Толстого «Холстомер» // Яснополянский сб.: Статьи и материалы. 1910 – 1960. – Тула, 1960. – С. 27 – 43.
69. *Мышкова Л. М.* Чехов – мастер малого рассказа // Литературная учеба. – 1933. – № 9. – С. 14: природа в рассказе Чехова «Белолобый» и в повести Толстого «Холстомер».
70. *Мышкова Л., Тимофеев Л.* Программа для литературных кружков / Под ред. В. Ставского. – М.: Сов. писатель, 1935. – С. 54 – 57: «Холстомер».
71. *Пескина Н. И.* Классики русской художественной литературы: Круг чтения для рабочей и колхоз. молодежи. – М., 1950. – С. 62 – 68: о «Холстомере».
72. *Пруцков Н. И.* Вопросы литературно-критического анализа. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – С. 83: о «человеческом содержании» в аллегориях «Холстомера».
73. *Рукавицын М. М.* Повесть Л. Н. Толстого «Холстомер»: (К вопросу о соотношении идеи и композиции в художественном произведении): Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та. – 1963. – Т. 122 // Рус. лит. – Вып. 8. – С. 87 – 103.
74. *Светов Ф. Г.* Нравственный фундамент: Заметки критика. – М.: Дет. лит., 1971. – С. 76 – 82: о социальной остроте нравственной идеи повести «Холстомер».
75. *Храпченко М. Б.* Лев Толстой как художник. – М., 1971. – С. 226 – 289: об историческом и психологическом содержании «Холстомера».
76. *Энгельгардт Н. А.* История русской литературы XIX столетия. – М.: Изд-во А. С. Суворина, 1903. – С. 67 – 72: «Говорящие лошади» Свифта (в «Путешествии Гулливера») и «Холстомер» Толстого.

Язык и стиль повести

77. *Барлас Л. Г.* Некоторые особенности художественного преобразования так называемых нейтральных слов в прозе Л. Н. Толстого // Учен. зап. Шахтин. пед. ин-та. – 1962. – Т. 3. – Вып. 4. – С. 162 – 175: о языке и стиле «Холстомера».
78. *Кадинский А. Б.* О художественном своеобразии цикла повестей Л. Н. Толстого 80-х годов // Учен. зап. Горьк. гос. пед. ин-та. – 1958. – Т. 26. Литература и история СССР. – С. 143 – 205: о стилистике рассказов и повестей «Смерть Ивана Ильича», «Холстомер» и др.

394

395

95. *Фет А. А.* Письмо Толстому от 6 мая 1863 г. // Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. – М., 1962. – С. 253: эпиграмма на «Холстомера».
96. *Соболев Л.* Доклад // Третий съезд писателей СССР: 18 – 23 мая 1950: Стеногр. отчет. – М., 1959. – С. 193: о «живой и умной картине человеческих отношений, слетевших вокруг знаменитого рысака», в повести «Холстомер».
97. *П. И. Чайковский, С. И. Танеев.* Письма. – М.: Госкультпросветиздат, 1951. – С. 271: о «противоречии» в искусстве и философии Толстого в связи с «Холстомером» (письмо Чайковского).
98. *Чехов А. П.* Письмо к А. А. Долженко от 8 мая 1891 г. // Полн. собр. соч.: в 30 т. – М., 1976. Письма. – Т. 4. – С. 226: о читательском интересе к повести «Холстомер».
99. *Чехов А. П.* Письмо к А. С. Суворину от 8 сент. 1891 г. // Полн. собр. соч.: в 30 т. – М., 1976. Письма. – Т. 4. – С. 270: о «Холстомере» и Послесловии к «Крейцерову сонату» Толстого.
100. *Шкловский В. Б.* Теория прозы. – М.; Л.: Круг, 1925. – С. 62 – 63: «прием параллелизма» в повести «Холстомер».
101. *Шкловский В. Б.* Художественная проза: Размышления и разборы. – М.: Сов. писатель, 1955. – С. 443 – 445: «обновление понятия собственности» в повести «Холстомер».
102. *Шкловский В. Б.* Повести о прозе: в 2 т. – М.: Художественная литература, 1966. – Т. 2. – С. 299 – 301: «обновление понятия собственности» в повести «Холстомер».
103. *Шкловский В. Б.* Лев Толстой. – М.: Молодая гвардия, 1963. – С. 366 – 375: о литературном материале и «не книжной теме» «Холстомера».
104. *Эйзенштейн С. М.* «Ферганский канал»: Реж. сценарий и коммент. // Вопр. кинодраматургии. – 1959. – Вып. 3. – С. 338 – 339.

Иллюстраторы повести

105. Иллюстрации советских художников к произведениям Л. Н. Толстого. – М.: Сов. художник, 1960. Иллюстрации А. А. Пластова (1952), М. С. Родионова (1932), Г. К. Савицкого (1947 – 1948) к «Холстомеру».
106. *Урбан А.* Решительным шагом // Звезда. – 1963. – № 4. – С. 217: упоминание об иллюстрациях Т. Капустинной к «Холстомеру» (иллюстрации воспроизведены на вклейках альманаха «Молодой Ленинград». – Л., 1962).
- А. А. Пластов*
107. *Анохин А. В.* Пластов-иллюстратор // Учен. зап. Курск. гос. пед. ин-та. – 1967. – Вып. 32. – С. 144 – 152: об иллюстрациях А. А. Пластова к «Холстомеру».
108. Искусство книги. – 1960. – Вып. 1. – С. 6: об иллюстрациях А. А. Пластова к «Холстомеру».

396

79. *Прянишников Н.* Язык и манера Л. Сейфуллиной: (опыт стилистического анализа) // Красная новь. – 1933. – № 6. – С. 192: о сказовой манере повествования в «Холстомере».

- Русские и советские деятели литературы и искусства о повести**
80. *Антонов С.* Письма о рассказе // Лит. газ. – 1952. – 27 дек.: о типическом в «Холстомере».
81. *Афиногенов А.* Дневники и записные книжки. – М.: Сов. писатель, 1960. – С. 277 – 280: о судьбе главных героев повести и описании «ночей» в «Холстомере».
82. *Бунин И. А.* Освобождение Толстого // Собр. соч.: в 9 т. – М., 1967. – Т. 9. – С. 146 – 150: о психологическом содержании «земных историй» у Толстого и «беспопачности» его таланта.
83. *Вересаев В. В.* Лев Толстой // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. – М., 1955. – Т. 2. – С. 167: об отношении Толстого к природе.
84. *Гершензон М. О.* Мечта и мысль Тургенева. – М.: Кн. изд-во писателей, 1919. – С. 167 – 169: фантастическое в сатире Толстого и Свифта, о психологическом смысле повести.
85. *Горький А. М.* Лев Толстой: Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. – Пг.: Изд-во З. И. Гржебина, 1919. – С. 50: о «Холстомере» в ряду великих произведений Толстого.
86. Дни и годы П. И. Чайковского: Летопись жизни и творчества. – М.; Л.: Музгиз, 1940. – С. 389: отзыв Чайковского о «Холстомере».
87. *Кривенко С. Н.* Из литературных воспоминаний // Исторический вестник. – 1890. – № 2. – С. 275 – 276: Тургенев о Толстом и его таланте проникновения в жизнь человека и природы (в связи с первоначальным замыслом «Истории лошади»).
88. *Куприн А. И.* Изумруд // Шиповник. – 1907. – № 3. – С. 121: «посвящено памяти несравненного пегого рысака Холстомера».
89. *Куприн А. И.* О том, как я видел Толстого на пароходе «Св. Николай» // Совр. мир. – 1908. – № 11. – С. 148: о «Холстомере» в ряду других великих произведений Толстого.
90. *Лидин В. Г.* Люди и встречи. – М.: Сов. писатель, 1961. – С. 226: о житейском и психологическом смысле истории о Холстомере.
91. *Нагибин Ю.* Размышления о рассказе. – М.: Сов. Россия, 1964. – С. 82: рассказчик в «Холстомере».
92. *Никитин Л.* Чехов, Бунин, Куприн: Лит. портреты. – М.: Сов. писатель, 1960. – С. 292: Куприн о «Холстомере».
93. *Оссуфьева А. Г.* Воспоминания об И. С. Тургеневе // Ист. вестник. – 1911. – № 3. – С. 860 – 861: Тургенев о Толстом-художнике и его понимании жизни природы (в связи с замыслом «Истории лошади»).
94. *Рыльский М.* Соч.: в 4 т. – М.: Гослитиздат, 1963. – Т. 4. – С. 28 – 29: о научном значении наблюдений Толстого над жизнью животных на примере «Холстомера».

М. С. Родионов

109. *Буторина Е. И.* Михаил Семенович Родионов. – М.: Сов. художник, 1962. – С. 69 – 70: об иллюстрациях Родионова к «Холстомеру».
110. *Воркунова Н. И., Чернова Г. А.* Книжная и станковая графика // История русского искусства. – М., 1961. – Т. 12. – С. 422: об иллюстрациях Родионова к «Холстомеру».
111. *Чегодаев А.* Родионов-иллюстратор // Искусство книги. – 1962. – Вып. 3: об иллюстрациях Родионова к «Холстомеру».

Н. С. Самокиш

112. *Ткаченко В. Я.* Н. С. Самокиш. 1860 – 1944. – М.: Искусство, 1964. – С. 41: об иллюстрациях к «Холстомеру».

Г. К. Савицкий

113. *Полищук Э. Г. К.* Савицкий: 1887 – 1949. – М.: Искусство, 1961. – С. 144 – 148; 253 – 254: об иллюстрациях Г. К. Савицкого к «Холстомеру».

Н. Е. Сверчков

114. *Стрельцов С.* Николай Егорович Сверчков: 1817 – 1898. – М.: Искусство, 1954. – С. 34 – 35: об акварелях Н. Сверчкова на сюжет «Холстомера».

Упоминание о повести «Холстомер» в литературе по коневодству

115. *Витт В. О.* Из истории русского коннозаводства: Создание новых пород лошадей на рубеже XVIII – XIX ст. – М.: Сельхозгиз, 1952. – С. 218 – 219; 245; 250 – 251; 306: о родословной Холстомера и отражении его судьбы в повести Толстого.
116. *Корш Ю.* Кто прототип Холстомера // Коммуна. – 1960. – 15 ноября. – Воронеж: о конном заводе в Хреновом и предках Холстомера.
117. *Лавренко В.* Правда об Изумруде и Холстомере // Неделя. – 1965. – 11 сент.: о прототипах Изумруда А. И. Куприна и Холстомера Л. Н. Толстого.
118. *Урнов Д. М.* В мертвом гете // Знание – сила. – 1974. – № 9. – С. 41 – 44: о Холстомере и об отношении Толстого к конному делу.

История повести // Л. Н. Толстой. Холстомер. – М., 1979. – С. 7 – 46; 208 – 231.

397

Золотая полка

1

В мае 1888 года в Ясной Поляне в течение недели гостил английский журналист Вильям Стэд, издатель журнала «Pall Mall Budget». Он хотел получить от Толстого статью о современной литературе [1]. Но журнал не вызывал у Толстого ни сочувствия, ни интереса. Впоследствии Толстой говорил, что его отталкивала «газетная болтовня» Стэда [2, с. 396]. Договориться они не могли. И Стэд уехал.

В следующем, 1889 году, в журнале «Pall Mall Budget» появилась статья известного ученого Джона Леббока «Сто лучших книг». Это была новая «затея Стэда», которая вдруг заинтересовала Толстого. «Давно уже я понял, — писал он еще в феврале 1888 года, — что нужен этот круг чтения, давно уже я читал многое, могущее и должностное войти в этот круг» [3, т. 64, с. 152]. Московский издатель В. Н. Маракуев решил перепечатать список Леббока в своем журнале «Сотрудник». И обратился к Толстому с просьбой дополнить список.

Толстой согласился помочь Маракуеву. В его дневнике появляется заметка: «Пошел по книжным лавкам» [3, т. 50, с. 37]; «Мы составляли список 100 книг» [3, т. 50, с. 53]. В те дни Толстой перечитывал Вольтера, Герцена, Робертсона... Работа увлекла его. Но он все время чувствовал какое-то недовольство собой.

Ему была предложена готовая форма: «100 лучших книг». И он поначалу принял эту форму. Но потом возник вопрос: почему именно 100, а не 200, или, напротив, не 50?

398

Э. Г. Бабаев

Это было совсем другое дело. «Михаил Михайлович, — пишет Толстой, обращаясь к Ледерле, — на первое ваше письмо я просил ответить мою дочь, на последнее же письмо ваше с приложением копии списка, бывшего у Маракуева, постараюсь ответить полнее» [3, т. 66, с. 65].

Во-первых, Толстой пришел к заключению, что выбор Леббока, который хотел составить «один список» — «для всех», неудовлетворителен: «список этот никуда не годится» [3, т. 66, с. 66].

Невозможно выбрать «лучшие книги», не думая о том, для кого они предназначаются: «Лучшие книги могут быть лучшими или не лучшими, смотря по возрасту, образованию, характеру лиц, для которых они отбираются» [3, т. 66, с. 66].

Во-вторых, сама идея — «100 лучших книг» — теперь казалась Толстому «неосновательной»: «Подумав серьезно об этом предмете, я пришел к заключению, что проект составления списка 100 абсолютно лучших книг неосуществим и что затея Стэда была затея неосновательная» [3, т. 66, с. 66].

Первоначальный список со всеми поправками и дополнениями был, таким образом, отброшен¹. Вместо «абсолютного» отбора Толстой предложил свой собственный, «относительный» выбор книг, полагая, что этот опыт может быть интересен и для других. «Ваш вопрос, — пишет Толстой в письме к Ледерле, — относящийся к каждому отдельному лицу, о книгах, имевших на него наибольшее влияние, по-моему, представляет серьезный интерес и данные на него добросовестные ответы могут повести к интересным выводам» [3, т. 66, с. 67].

По существу Толстой заговорил о том, что в современной социологии называется методом сравнительного изучения читательских интересов. Такой метод ныне является общепризнанным. Указал Толстой и на самое важное условие успешного изучения читательского опыта: «добросовестные ответы...» Письмо Толстого к Ледерле свидетельствует о том, что он далеко опережал книговедческую мысль своего времени.

2

Для того чтобы ответить на вопрос о том, какие книги произвели на него наибольшее впечатление «в разные периоды жизни», Толстой должен был вспомнить всю свою жизнь.

¹ По-видимому, этот список был тогда же уничтожен Толстым.

400

Разумного ответа на этот вопрос не было. Хотя сама идея «золотой полки» оставалась заманчивой, и Толстой выписал в свой дневник изречения из «Фауста» Гете: «И в своих темных блужданиях люди все же сознают правильный путь». Эти слова Гете, если их отнести к выбору книг, к самой проблеме составления избранной библиотеки, наполняются новым и глубоким смыслом. Толстой чувствовал близость и важность «правильного пути», но его отпугивали «потемки» чужого выбора...

И Толстой постепенно охладел к начатой работе. Маракуеву ничего не оставалось другого, как только напечатать в своем журнале список Леббока без всяких изменений [4, с. 155 — 164]. А рукопись с поправками и дополнениями Толстого он оставил у себя, надеясь, может быть, опубликовать ее позднее.

В 1891 году Толстой получил письмо от петербургского издателя М. М. Ледерле. Письмо это оказалось неожиданным продолжением разговора о «лучших книгах», «круте чтения» и «избранной библиотеке».

Ледерле желал составить и напечатать нечто вроде библиографического указателя под названием: «Мнения русских людей о лучших книгах для чтения». «Следует ли уверять Вас, горячо любимый Лев Николаевич, — пишет Ледерле, — что огромное большинство читателей первым делом будет искать в моей книге Ваших указаний».

Толстой сначала решил уклониться от прямого ответа на письмо Ледерле. На конверте его письма он сделал надпись для своей дочери Татьяны Львовны, которая помогала ему в те годы вести переписку: «Ответить поучтивее, что список такой есть у Маракуева. Маракуеву написать, что прошу сообщить» [3, т. 66, с. 69].

Татьяна Львовна в точности исполнила просьбу отца. Она ответила Ледерле и написала Маракуеву. Вскоре петербургский издатель получил список «100 лучших книг», составленный Леббоком, с поправками и дополнениями Толстого.

Но перед тем как включить этот список в свою книгу, Ледерле решил отправить его для последнего просмотра и для возможных исправлений в Ясную Поляну.

Толстой перечитал письмо Ледерле и обратил внимание на его главную мысль, которую сначала не заметил Ледерле, в отличие от Маракуева, интересовали не «абсолютно лучшие книги, — а те, которые произвели наибольшее впечатление в различные периоды жизни...»

399

Статьи II

И он наметил ее главные периоды: «Детство до 14 лет», «с 14 до 20», «с 20 до 35», «с 35 до 50» и «от 50 до 63». В 1891 году ему было 63 года, и он подводил предварительные итоги.

Письмо к Ледерле может послужить основой его глубокой психологической биографии. Здесь он не только назвал своих «собеседников», но и определил переломные даты своей жизни².

Силу впечатления от прочитанных книг Толстой обозначил словами: «огромное», «очень большое» и «большое». Различие в степени воздействия также включает в себе элемент читательской оценки той или иной книги. Детство Толстого прошло в Ясной Поляне, и он вспоминает свои первые книги как важные события жизни: «История Иосифа из Библии» (огромное), «Сказки тысячи одной ночи: 40 разбойников, Принц Камаральзаман» (большое), «Черная курица» А. Погорельского (очень большое), Русские былины (Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша Попович), народные сказки (огромное), стихи Пушкина «Наполеон» (большое).

В четырнадцать лет, после смерти отца, Толстой оказался в Казани, в большом незнакомом городе. Внешне он ни в чем не испытывал недостатка: его опекушкой была богатая помещица П. И. Юшкова, родственница отца. Но внутренняя жизнь Толстого никогда не была такой напряженной, как именно в эти годы. Шестнадцати лет он поступил в университет.

Новые книги открылись перед ним. Они были разнообразны и, каждая по-своему, удивительны: «Евангелие от Матфея: Нагорная проповедь» (огромное), «Сентиментальное путешествие» Стерна (очень большое), Руссо: «Исповедь» (огромное), «Эмиль» (огромное), «Новая Элоиза» (очень большое), «Евгений Онегин» Пушкина (очень большое), «Разбойники» Шиллера (очень большое), Гоголя: «Шинель», «Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Невский проспект» (большое), «Вий» (огромное), «Мертвые души» (очень большое), «Записки охотника» Тургенева (очень большое), «Антон-Горемыка» Григоровича (очень большое), «Полинька Сакс» Дружинина (очень большое), «Давид Коперфильд» Диккенса (огромное), «Герой нашего времени» Лермонтова (очень большое), «Завоевание Мексики» Прескота (большое).

² Отырвки из письма Толстого к Ледерле опубликовал П. И. Бирюков в своей 4-томной «Биографии Л. Н. Толстого», впервые напечатанной в 1908 г. Полностью это письмо напечатано лишь в 1953 г. [3, т. 66].

401

Когда Толстому исполнилось 20 лет, он вернулся в Ясную Поляну. Потом поступил на военную службу и уехал на Кавказ. Двадцати четырех лет он дебютировал как писатель повестью «Детство». Будучи уже известным писателем, принимал участие в Крымской войне, в обороне Севастополя. Это были годы тревог и скитаний, опасностей и борьбы, литературного труда и славы. Наибольшее впечатление на него произвела тогда поэзия и философия, книги, полные раздумий о судьбе человечества, об искусстве: «Герман и Доротея» Гёте (очень большое), «Собор Парижской Богоматери» Гюго (очень большое), «Одиссея» и «Илиада» Гомера (читанные по-русски – большое), диалоги Платона, «в переводе Cusen'а», «Федон» и «Пир» (большое), стихотворения Кольцова, Тютчева, Фета (большое).

С 35 лет начинается период наибольшей творческой зрелости Толстого. Он поселился с семьей в Ясной Поляне, которая становится одним из самых притягательных центров духовной жизни России. С 35 до 50 лет Толстой написал «Войну и мир», «Азбуку», «Анну Каренину». Он был в расцвете своего гения. Имя его приобретало мировую известность. Он чувствовал себя художником и поэтом, который всюду искал и находил красоту. Не удивительно, что в эти годы он особенно внимательно перечитывал старых поэтов и новых романистов: «Одиссея» и «Илиада» Гомера, «по-гречески» (очень большое), былины (очень большое), Ксенофонт (очень большое), «Отверженные» Гюго (огромное), английские романы Вуд, Эллиота, Троллопа (большое).

Толстой читал по-гречески, по-французски, по-английски, по-немецки. Реальный круг его чтения, как об этом свидетельствуют его дневники и письма, был гораздо шире. Но в письме к Ледерле он говорит только о тех книгах, которые считал «своими», которые производили на него «огромное», «очень большое» или «большое» впечатление.

Выбор авторов и книг у Толстого «пристрастен». Но он добросовестно отмечал и перемены в своих пристрастиях. В 50 лет Толстой пережил «духовный кризис», написал «Исповедь»... Он мечтал уже отказаться от литературной деятельности ради моральной проповеди. Поэтому и в его списке – «от 50 до 63 лет» – вслед за поэтами и романистами предшествующей поры появляются философы, проповедники, моралисты разных эпох, представляющие в литературе религиозную мысль Востока и Запада: Евангелия, «все по-гречески» (огромное), Книга Бытия

402

чего дурного» [3, т. 55, с. 209]. Откуда же эта интонация самооправдания («в этом нет ничего дурного»)?

Толстой иногда чувствовал, что написанное им «для себя» важно и «для других», а написанное «для других» его самого не трогает... Так же и в выборе книг. Вдруг окажется, что «для других» нужно то, что «для себя» не понадобилось.

Опыт Толстого показывает, как сложен выбор «лучших книг», как трудна и даже неосуществима «золотая полка» при «абсолютных требованиях» и строгом самоанализе. Недаром он начал, но не окончил свой список.

И не потому, что у него «не было времени», а потому, что он хотел оставить этот список неоконченным, открытым. Иначе, зачем бы он стал посылать неоконченный ответ на письмо Ледерле? Толстой и говорил, что он передает ему, собирающему «мнения русских людей о лучших книгах», свой список «для соображения».

У него самого со временем возникла новая идея – собрать «лучших авторов» вместе. И не в списке, не на золотой полке, не в 100 или 50 томах, а в одном сборнике, который был бы особенно полезен «для других».

Анатоль Франс говорил, что есть два рода библиофилов: одни стремятся к возможно большей полноте своих собраний или библиографических списков, другие, пережив мечту о «золотой полке», составляют «Изборники», антологии, хрестоматии, в которые входят лишь отдельные страницы или даже отдельные строки любимых книг. «Надо себе составить круг чтения», – отмечал в 1884 году Толстой. – «Это и для всех бы нужно» [3, т. 49, с. 68]. То, что он избирал «для себя» и «для всех», должно было, по замыслу, слиться в одно целое.

В 1885 году Толстой пишет В. Г. Черткову: «Я по себе знаю, какую это придает силу, спокойствие и счастье, – входить в общение с такими душами, как Сократ, Эпиктет... Очень бы мне хотелось составить круг чтения, т. е. ряд книг или выборку из них, которые все говорят про одно, что нужно человеку прежде всего, в чем его жизнь и благо» [3, т. 85, с. 218].

Больше всего Толстого привлекала именно «выборка» из книг разных авторов. Для своей антологии он не искал лучшего названия, чем «Круг чтения». «Вопрос о том, что читать доброе по-русски? – заставляет меня страдать укорами совести, – признавался он в 1888 году в письме к Г. А. Русанову. – Давно уже я понял, что нужен этот круг чтения» [3, т. 64, с. 152].

404

«по-еврейски» (очень большое), «Прогресс и бедность» Генри Джорджа (очень большое), «Исследование вопросов, относящихся к религии» Теодора Паркера (большое), «Проповеди» Фредерика Робертсона (большое), «Сущность христианства» Людвиг Фейербаха (большое), «Мысли» Паскаля (огромное), Эпиктет (огромное), Конфуций и Менций (очень большое), «Будда» Филиппа Фуко (огромное), «Лао-цзы» Станислава Жульена (огромное).

Имея в виду именно эту универсальность интересов Толстого, Ромен Роллан называл его «стезей духа, связующей Восток и Запад» [5, с. 328 – 329]. В списке Толстого книг немного, но каждая из них «томов премногих тяжелей». А ведь вместе они охватывают многовековую и разноязычную историю человечества.

«Я составил отчасти этот список, – отмечал Толстой, – в котором вспомнил до 50 различных сочинений, произведших на меня сильное впечатление» [3, т. 66, с. 67].

Но свою работу он не считал оконченной. Поэтому просил Ледерле не торопиться с публикацией его письма: «Посылаю Вам начатый и неоконченный список для вашего соображения, но не для печатания, так как он далеко еще не полон» [3, т. 66, с. 67].

Ледерле готов был ждать, но его ограничивали сроки сдачи в типографию рукописи уже готовой книги. «Окончания Вашего списка, – пишет Ледерле, – я буду ждать терпеливо и тотчас по получении его приступлю к печатанию книги». Однако Толстой не торопился, ссылаясь на то, что у него «решительно нет времени» [3, т. 66, с. 230]. К списку он больше не притрагивался.

И Ледерле напечатал свою книгу [6] без этого удивительного и единственного в своем роде документа («добросовестный ответ»), который мог бы оказать огромное влияние на культуру книжного дела XIX века.

3

Среди множества противоречий, которые мучили Толстого, было противоречие между тем, что он считал необходимым «для себя», и тем, что казалось необходимым «для других». Очень трудно было найти такую точку зрения, при которой сливались бы в одно и личные цели, и общее дело.

«Думал о том, что пишу я в дневнике не для себя, – отмечал Толстой, – а для людей – преимущественно для тех, которые будут жить, когда меня, телесно, не будет – и что в этом нет ни-

403

Но для такого «Круга чтения» важна свободная и «всеобъемлющая» композиция. Толстой долго не мог найти убедительный способ расположения материалов. И лишь в 1902 году, во время болезни, читая календарь, вдруг решил взять в основу своей антологии принцип ежедневника.

Сначала он составил «Мысли мудрых людей на каждый день», своеобразный философский календарь. Получилась довольно большая книга, которая и была издана в 1904 году [7].

На основе этой книги Толстой в 1904 году стал составлять новый, более значительный по объему сборник – «Круг чтения».

В письме к Ледерле была одна весьма характерная для Толстого особенность. Среди книг, которые произвели на него наибольшее впечатление, Толстой всегда ставил на первое место религиозные писания. Но его религиозное мировоззрение сильно отличалось от церковного вероучения.

Поэтому он считал возможным говорить о Священном Писании наряду со светскими книгами. И вслед за историей Иосифа из Библии следуют «Сказки тысячи одной ночи» – «40 разбойников» и «Принц Камаральзаман», а после «Евангелия от Матфея» вдруг появляется «Сентиментальное путешествие» Стерна. С точки зрения строгого православия это было «непозволительное вольнодумство». Но Толстой и не скрывал своего разлада с церковью. Смелые и дерзкие страницы «Воскресения», содержащие кощунственное описание богослужения, были причиной отлучения Толстого от церкви в 1901 году.

Круг чтения был своего рода ответом Толстого на «определение Синода». Он хотел доказать, что многие, если не все выдающиеся умы человечества думали так же, как он, отстаивая независимость науки и искусства от церкви и от «догматического богословия».

Поэтому цензура отнеслась к новой книге Толстого с недоверием и недоброжелательностью. И. И. Горбунов-Посадов, издававший книгу в «Посреднике», советовал Толстому убрать слово «вера» из подзаголовка «Круга чтения». Слово «вера» необходимо заменить другим, – говорил Горбунов-Посадов – «так как это слово “вера” делает то, что книгу немедля передадут в духовную цензуру» [3, т. 42, с. 572].

Отношение же духовной цензуры к Толстому было известно... Горбунов-Посадов все же издал «Круг чтения» в «Посреднике» [8]. Однако И. Д. Сытин не решился перепечатать эту книгу, опасаясь цензурных и судебных преследований.

405

Сборник, составленный из «мыслей лучших авторов», оказался «опасным», потому что получил сильный отпечаток личности Толстого.

В «Круге чтения», в отличие от сборника «Мысли мудрых людей на каждый день», был особый «беллетристический отдел» – «Недельные чтения», в котором Толстой помещал небольшие, законченные художественные рассказы и повести. <...>

Из русских писателей Толстой выбрал для «Круга чтения» близкие ему по духу, но вовсе не дидактические по содержанию рассказы: Тургенева «Морское плавание» (март), «Воробей» (август), «Живые мощи» (октябрь), повесть Герцена «Поврежденный» (декабрь), отрывки из «Мертвого дома» Достоевского – «Смерть в госпитале» (май), «Орел» (июнь), переложение очерка Лескова «Воров сын» (январь) и рассказ «Душечка» Чехова (июнь).

Иностранная литература была представлена именами Виктора Гюго – «Бедные люди» (март), «Неверующий» (июль), «Епископ Мириель» (ноябрь), «Сила детства» (сентябрь), Ги де Мопассана – «Одиночество» (август), «Сестры» (декабрь), Анатолия Франса – «Уличный торговец» (апрель).

Недельные чтения как бы «венчали дело», а «Круг чтения» в собственном смысле слова – это расположенные по дням месяца изречения, объединенные в своеобразные тематические циклы, своеобразный «бесконечный календарь», некий философский «часослов», который читается подряд, но может быть раскрыт наугад, на любой странице.

В «выборках» Толстого была своя система. Например, день 21 ноября открывается его изречением: «Нет того особенного подвига, который мы должны совершить в этой жизни. Вся жизнь наша должна быть этим подвигом» [3, т. 42, с. 271]. И все последующие отрывки из разных авторов как бы развивают эту тему. Так, Толстой выбирает из Паскаля близкую по смыслу «максиму»: «Добродетель человека измеряется не его необыкновенными усилиями, а его ежедневным поведением» [3, т. 42, с. 271].

В книге Толстого приведены отрывки из множества известных и неизвестных авторов. Здесь можно найти изречения древних мудрецов, великих философов, поэтов, писателей, публицистов разных эпох. Платон соседствует с Кантом, Марк Аврелий с Сенекой, Ницше с Генри Джорджем, Скворода с Петром Хельчицким... Но выбор этот очень своеобразен. Здесь нет, например, Аристотеля, но есть Н. Страхов...

406

Э. Г. Бабаев

часть моей жизни, потому что я жил так, что имею причину думать, что принес некоторую пользу... Когда же придет конец, то я оставлю жизнь так же, как я бы ушел из гостиницы, а не из своего настоящего дома...» [3, т. 42, с. 235].

Кто сказал бы, что это выписка из Цицерона, а не собственная запись Толстого в его дневнике «для одного себя», который он вел в последний год своей жизни? Странно, что эта мысль и вообще все страницы «Круга чтения», совпадающие «по календарю» с его последними днями пребывания в Ясной Поляне, не привлекали еще внимания биографов Толстого.

Один только И. А. Бунин обратил внимание на биографический смысл «мыслей мудрых людей на каждый день»: «В этот сборник он включил, – пишет Бунин в книге «Освобождение Толстого», – наиболее трогавшие его, наиболее отвечавшие его уму и сердцу «мысли мудрых людей» разных стран, народов и времен, равно как и некоторые свои собственные» [11, с. 33].

Очерки эстетики и творчества Л. Н. Толстого. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – С. 47 – 56.

Примечания

1. Стэд В. Неделя в Ясной Поляне // Новое время. – 1889. – 25 января.
2. Маковицкий Д. П. У Толстого // Литературное наследство. – М., 1979. – Т. 90. – Кн. 1.
3. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. – М., 1953.
4. Сотрудник. – 1890. – № 1–2.
5. Роллан Р. Ответ Азии Толстому // Собр. соч.: в 20 т. – Л., 1930 – 1933. – Т. XIV.
6. Ледерле М. М. Мнения русских людей о лучших книгах для чтения. – СПб., 1895.
7. Мысли мудрых людей на каждый день. Составил Л. Н. Толстой. – М., 1902.
8. Толстой Л. Н. Круг чтения. – Т. I и II (в двух выпусках). – М.: Посредник, 1904.
9. Литературное наследство. – 1979. – Т. 90. – Кн. 1.
10. Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. – М., 1928.
11. Бунин И. А. Собр. соч.: в 9 т. – М., 1967. – Т. 9.

408

«Будет удивительным, – говорил Толстой, – когда в “Круге чтения” рядом с Кантом и другими часто будет попадаться Люси Малори, неизвестная особа...» [9, с. 298]. Отрывки из статей Люси Малори, журналистки из американского штата Оригон, в книге Толстого, действительно, неожиданны.

Но еще более неожиданно резкое отличие «Круга чтения», составленного «для других» или даже «для всех», от того списка авторов, который был приведен Толстым в письме к Ледерле. Напрасно стали бы мы искать здесь многие из тех произведений, которые были так важны в духовной биографии Толстого. Их нет в «Круге чтения». Толстой редактировал самого себя пером «последователя» своего собственного учения. А так как личность и интересы его никогда целиком не совпадали с учением «толстовства», то многое оказалось отброшенным... Как будто то, что было дорого «для себя», он «утаивал» от «других».

«Круг чтения» был составлен «для всех»... Но толстовство как таковое не имело всеобщего признания. Оно не имело и широко распространения. Поэтому и книга Толстого не пользовалась тем успехом, на который она была рассчитана.

«Я не понимаю, – искренно удивлялся Толстой, – как это люди не пользуются “Кругом чтения”? Что может быть драгоценнее, как ежедневно входить в общение с мудрейшими людьми мира?» [10, с. 158]. Впрочем, и у самого Толстого были некоторые сомнения относительно «всеобщего» значения этой книги. В самый разгар работы над «выборками» он записал в своем дневнике: «Все занят “Кругом чтения”. В достоинстве сомневаюсь. Скорее склоняюсь думать, что плохо» [3, т. 55, с. 99].

4

Но парадокс «Круга чтения» заключался в том, что эта книга, задуманная и составленная «для других», была, может быть, одной из самых «личных» книг Толстого, в большей степени даже, чем его дневники.

Мысли и тревоги последних лет его жизни, сомнения и надежды, отношения с близкими – все это нашло отражение в блестящей серии афоризмов. Некоторые из них оказались пророческими.

7 ноября (ст. стиля) 1910 года Толстой навсегда покинул Ясную Поляну. На этот день в его «Круге чтения» приходится следующая запись: «Я не жалею о том, что родился и прожил здесь

407

«К познанию России»

1

Всякий раз, бывая в Москве или Петербурге, Толстой заказывал и покупал книги для своей библиотеки. В его дневниках, письмах и записных книжках встречаются пометки о купленных изданиях. Есть в его архиве и счета, где указаны не только книги, но и цены на них, по тем временам довольно высокие. Вот один из таких счетов:

«Его сиятельству графу Льву Николаевичу Толстому»		
Число		руб. коп.
1863	1 экз. «Московские ведомости», 1803	3
Августа 15	1 экз. Записки Сергея Глинки	3
	1 экз. Записки Шишкова	1 50
	1 экз. Записки артиллериста ¹ 4 т.	4
	1 экз. Сочинения Карамзина 3 т.	2
		13 50
Получено 10 рублей		
Затем остается 4 р. 50 к.		
Словарь достопамятных людей		
	Вантэш-Коменского 3 ч.	5
Донесение следственной комиссии		
	Тож: Варшавской	1
	Верховно-уголовный суд	2

¹ Радожницкий И. Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 г. – М., 1834. – Т. I – IV.

409

	История консульства Тьера, 7 т.	3	
	История 1812 г. Михайловского, 3 ч.	4	
	1813. Его же	2	50
	1814. Его же	2	50
	1805. Его же, в переплете	2	
1863 ноябрь 24	Дельфина роман ²	2	
1864	Вестник Европы, 1803	2	50
март 19	То же, 1804	2	50
	Кавалерист-девица ³	2	50
	Записки студента ⁴	1	80
1864	Получено через человека серебром	20 р.	
мая 9	Затем остается	20 р.	75 к.
1865 апреля 19	Устав конного полка.		

Список этот очень интересен и по составу, и по ценам (в серебряных рублях), и по доверительно-кредитным отношениям Толстого и книготорговца. Он был постоянным посетителем книжных магазинов. Чаще всего Толстой обращался к услугам В. И. Готье, который содержал книжный магазин в Москве, на Кузнецком мосту. В «Анне Карениной» упоминается «ящик книг от Готье». Сколько таких ящиков книг было доставлено в Ясную Поляну, прежде чем могла образоваться библиотека Толстого, состоящая из 22-х тысяч книг и журналов!

* * *

Когда еще юная Софья Андреевна в 1862 году приехала в Ясную Поляну, здесь было довольно много старых книг. Но все они помещались в двух больших шкафах. Устраивая дом для новой жизни, Толстой позаботился и о своей библиотеке. Постепенно прибавлялись новые шкафы к старым. Образовалось как бы две библиотеки – верхняя и нижняя, т. е. шкафы были установлены в комнатах второго и первого этажа яснополянского дома. Некоторые полки пришлось вынести в коридор и на верхнюю пло-

² *Мадам де Сталь*. Дельфина (1803; рус. перевод 1803 – 1804).

³ *Дурова Н. А.* Записки кавалерист-девицы.

⁴ *Жихарев С. П.* Записки современника: в 2 т. Т. 1. Дневник студента; Т. 2. Дневник чиновника.

советовал Софье Андреевне составить полный каталог книг Толстого. И его советы возымели действие. Старшая дочь Толстого, Татьяна Львовна, составила первый каталог. Это были еще разрозненные списки, к тому же и неполные. Но дело было начато.

В 1908 году С. А. Толстая собственноручно переписала в три большие переплетенные тетради каталог русских и иностранных книг, хранящихся в Ясной Поляне. Так была положена основа яснополянской библиографии, которая стала одной из реликвий музея Толстого. Но и в библиографии С. А. Толстой были неточности и пробелы. В 1912 году, уже после смерти Толстого, профессор А. С. Грузинский опубликовал статью «Ясно-Полянская библиотека», в которой поставил вопрос о научном, полном библиографическом описании библиотеки Толстого [3].

Именно тогда, с согласия С. А. Толстой, начал свою работу над составлением «Библиографии» В. Ф. Булгаков. Он стремился к полноте описания, но сами методы, которыми он пользовался, были несовершенными. Поэтому возникли некоторые ошибки и неточности в характеристике книг.

Уже после Великой Отечественной войны была предпринята подготовка к печати описания толстовской библиотеки. В работе принял участие известный библиограф Б. С. Боднарский. В описание решено было включить указание тех страниц и строчек, которые имеют пометки Толстого. Это была новая и очень важная мысль, потому что такая библиография не только определяет «круг чтения» Толстого, но и позволяет судить о самом характере чтения и отношения к тем или иным книгам. Вообще, пометки Толстого на книгах столь интересны и поучительны, что они заслуживают специального разбора. Читая, например, книгу Гюго «93 год» и следя за отчеркиваниями Толстого, начинаешь слышать удивительную беседу двух великих писателей о жизни, истории, революции. И ни в какой другой книге нельзя найти таких неожиданных материалов для характеристики отношения Толстого к современности, как именно в этой старой книге Гюго [4, с. 34 – 42].

Очевидно, вполне уместно было бы в новом издании Полного собрания сочинений Толстого отвести целый том для публикации пометок на книгах яснополянской библиотеки. Тот или иной отрывок из текста с сопутствующими маргиналиями Толстого воспринимается как бы в новом, ярком освещении. И сколько тут нового, свежего, почти никому еще неизвестного материала

щадку. За полвека жизни в Ясной Поляне Толстой собрал большую библиотеку. К 1910 году она едва могла разместиться в 25 шкафах. Большой интерес представляет сопоставление библиотеки Толстого с другими писательскими библиотеками XVIII и XIX веков: «С Ясной Поляной, – пишет Б. Горбачевский, – связана и история знаменитого книжного собрания – самой крупной в прошлом из писательских библиотек. Известно, что в библиотеке Пушкина находилось 1523 книги, чеховское собрание насчитывало 1900 сочинений. История литературы знает книжное собрание выдающегося мыслителя и поэта Гете – 5424 книги. Библиотека Вольтера содержала 6902 тома. В яснополянской библиотеке Толстого хранилось 22 тысячи книг и журналов» [1, с. 147].

Это была повседневная рабочая библиотека Толстого. Проматривая ее каталог [2] или проходя мимо полок с книгами, видишь отчетливо обозначенные труды и дни великого писателя. Его интересы были разнообразными, универсальными. Поэтому и его библиотека не ограничивалась книгами литературного или философского содержания. Характеристику библиотеки Толстого по ее составу можно найти в статье В. Ф. Булгакова, бывшего секретарем Толстого: «Яснополянская библиотека, – пишет Булгаков, – делится на две приблизительно равные части. Несколько более половины библиотеки составляют книги на русском языке. По содержанию эти книги примерно распределяются так: на первом месте по количеству названий русских книг стоит художественная литература (1079), далее следует литература религиозно-философская (773), социально-экономическая и политическая (390), затем книги по естествознанию, медицине, гигиене (375), историческая литература, мемуары и биографии (348), книги по истории литературы и языковедению (181), педагогике (149), этнографии и фольклору (108), географии, включая путешествия (100), математике (45) и технике (43). Особое место занимают издания сочинений Толстого (352) и литературы о нем (135), учебники (136), а также справочники... (155)» [2, ч. I, с. 9 – 10].

По мере того как разрасталась библиотека, возникали новые заботы, связанные с хранением и описанием книг. Зимой 1889 – 90 года домашний учитель А. М. Новиков стал приводить в порядок библиотечные шкафы. Толстой с большим вниманием относился к его работе. Страхов, бывая в Ясной Поляне, настойчиво

для характеристики литературных, философских и социальных идей Толстого! Его пометки на книге Герцена «С того берега» стоят целой монографией... [5].

Основой для составления такого тома может служить добросовестно составленная двухтомная библиография яснополянской библиотеки, вышедшая в свет в 1972 и 1977 годах. В этой библиографии описаны все русские книги; иностранная библиография до сих пор еще не издана... Яснополянская библиография должна быть полной. В 1978 году опубликована библиография периодических изданий.

В цельности всего наследия Толстого, которое является национальным достоянием и хранится в музее, есть огромный исторический смысл.

2

В яснополянской библиотеке собрано множество книг современников Толстого. Для каждого из писателей и ученых тех лет естественным было желание подарить ему новое свое сочинение в знак уважения к его личности и труду.

С. Т. Аксаков прислал Толстому «Семейную хронику», изданную в 1858 году, с надписью: «Графу Льву Николаевичу Толстому в знак искреннего уважения к его прекрасному таланту от сочинителя». В известном смысле это была книга преданий «заветной старины».

В. И. Вернадский подарил Толстому свою книгу «О научном мирозерцании», вышедшую в свет в 1903 году: «Льву Николаевичу Толстому с глубоким уважением и сердечной преданностью. Автор». Это была современная книга, принадлежащая новой эпохе.

Так от «Семейной хроники» до «Научного мирозерцания» росла и расширялась библиотека Толстого. Наряду с книгами А. А. Фета, Я. П. Полонского, А. И. Эртеля, В. Г. Короленко, И. А. Бунина, А. М. Горького в библиотеке Толстого были представлены труды К. А. Тимирязева, И. И. Мечникова, Н. А. Морозова, Б. Н. Чичерина. Научная мысль дополняла литературную и философскую, библиотека Толстого постепенно становилась энциклопедией века. Он внимательно следил за всеми новыми идеями в науке и искусствах. Не все, конечно, книги в его библиотеке имеют дарственные надписи. Он не был лично знаком, например,

с Д. И. Менделеевым, который резко отрицательно относился к его религиозным идеям. Но книга Менделеева «К познанию России» есть в библиотеке Толстого.

Менделеев был сторонником промышленного развития России и стремился всеми силами содействовать ее движению в этом направлении. Толстой защищал традиционную, сельскую культуру. В этом, прежде всего, состоит их различие и разногласия. Один смотрел в будущее, другой оглядывался в прошлое. Но и Менделеев, и Толстой искали настоящего «познания России», ее исторической роли в судьбах мира. И это роднит двух великих русских мыслителей, несмотря на их несоходство. По библиотеке можно проследить развитие социально-философской и общественно-политической мысли в Европе и в мире на протяжении всего XIX столетия, от «утопического социализма» до «научного коммунизма». Толстой читал «Капитал» Карла Маркса (в переводе В. Д. Любимова), изданный в 1898 году, и ряд других марксистских книг. Он знал некоторых декабристов лично. А в 1902 году один из корреспондентов «Искры» писал в редакцию ленинской газеты: «Посылайте „Искру“ Толстому...» [6, с. 100], ту самую большевистскую газету, которая выходила с эпиграфом из стихов декабриста А. Одоевского: «Из искры возгорится пламя».

На этажерке в кабинете писателя есть принесенный или присланный кем-то сборник «О бойкоте третьей думы», напечатанный в Москве в 1907 году. В этом сборнике была помещена статья В. И. Ленина «Против бойкота. Из заметок с-д публициста» [7, с. 79 – 82]. Толстой был хорошо подготовлен к пониманию марксизма, потому что ему известны были все его источники и составляющие части: французский утопический социализм, английская политическая экономия и немецкая классическая философия. Книги по всем этим отраслям знаний издавна хранились в яснополянской библиотеке. И если он не соглашался с марксистским учением, то не потому, что «не знал» или «не понимал» его, а потому что придерживался иных, прежде всего религиозных идей и, отрицая «классовую борьбу», провозглашал утопический идеал «примирения всех в добре».

Эту его своеобразную позицию очень хорошо понимал В. И. Ленин, когда писал, что Толстой «рассуждает отвлеченно» и «допускает только точку зрения „вечных“ начал нравственности, вечных истин религии...» [8, с. 101]. В 1909 году Толстой получил письмо от

414

неизвестного никому в ту пору Мохандаса Ганди, который стал учеником и продолжателем Толстого, родоначальником «пассивного сопротивления». В 1910 году был прислан в Ясную Поляну журнал «Indian Home Rule», издававшийся Ганди... Куда бы ни обратился свой взор Толстой, на Запад или на Восток, он всюду видел признаки приближающихся великих перемен, признаки революции. Они были уже здесь, рядом с ним, их голоса явственно звучали в книгах, которыми была наполнена его библиотека.

Умение слышать в книгах голоса жизни и истории было главным в таланте Толстого-читателя. Декабристы, революционеры-демократы, народники, социал-демократы – все они были хорошо известны ему и лично, и по своим писаниям. А, главное, он сам становился выразителем тех чувств, которые приближали революцию в России. В 1904 году Толстой перечитывал книгу И. Тэна «Les origines de la France contemporaine»⁵ и записал в своем дневнике: «Основы революции (на которые так несправедливо нападает Тэн) несомненно верны и должны быть провозглашены... Несомненно, что переворот этот должен совершиться, что человечество все более и более готовится к этому перевороту и что придет время, когда человечество будет готово к нему» [9, т. 55, с. 81 – 82].

Это тоже была «заметка на полях», – мысль, вынесенная из глубины яснополянской библиотеки, но касалась она не только книги, но и самой истории, жизни, будущего.

3

Одна из характерных особенностей яснополянской библиотеки состоит в том, что здесь собраны книги на разных языках. Многие книги на иностранных языках имеют дарственные надписи. Они были присланы Толстому в Ясную Поляну, которая также получила мировую известность вместе с именем ее хозяина.

По мере того как росла известность Толстого, возрастала и его почта, русская и иностранная. Мировую известность Толстой получил уже после того, как он дома, в России, был признан великим писателем. В начале 80-х годов, после того, как были опубликованы «Исповедь» и «Крейцерова соната», произойти настоящей «взрыв». Почта Толстого стала расти не по дням, а по часам.

⁵ «Положение современной Франции» (пер. с франц.).

415

Почта приносила не только письма, но и книги, которые таким образом становились достоянием яснополянской библиотеки.

Из Франции пришло письмо от молодого лицеиста Ромена Роллана, который вскоре прислал Толстому и свои первые сочинения. На своей книге «Жан Кристоф в Париже» Ромен Роллан сделал надпись, которая может быть эпиграфом к обширной теме «Лев Толстой и зарубежный мир»: «Льву Толстому, показавшему нам пример того, что надо говорить правду всем и себе самому». Из Англии почта принесла книги уже входившего в известность Бернарда Шоу. Это были две пьесы – «Человек и сверхчеловек» и «Разоблачение лицемера Бланко Познет». Два письма Толстого к Бернарду Шоу были откликом на эти сочинения. И то, что Толстой написал тогда, является одной из самых острых характеристик английского парадоксалиста, которому суждено было стать одним из самых знаменитых писателей XX века. Толстой называл его человеком «с большим дарованием, самобытным мышлением и проникновением в сущность всякого вопроса» [9, т. 78, с. 202].

В современной немецкой литературе Толстого чрезвычайно заинтересовала пьеса Герхарда Гауптмана «Ткачи», которая, кстати сказать, считалась наиболее ярким отражением классовой борьбы пролетариата в литературе до романа М. Горького «Мать». «Хотелось бы написать предисловие к „Ткачам“», – пишет Толстой Черткову [9, т. 88, с. 198].

В 1887 году Толстой получил письмо из Америки от Джона Фореста, «бывшего майора США». Это письмо замечательно по своему содержанию: «Ваши персонажи для меня – живые, настоящие люди, такие же, как и вы сами, и составляют столь же неотъемлемую часть русской жизни. За последние годы вы, Достоевский и Гоголь населили то пространство, которое раньше было для меня безлюдной пустыней, отмеченной лишь географическими названиями».

Приехав теперь в Россию, я стал бы разыскивать Наташу, Соню, Анну, Пьера и Левина с большой уверенностью, что встречу с ними, чем с русским царем. И если бы мне сказали, что они умерли, я очень огорчился бы и сказал: „Как? Все?“ Почему русские романисты пишут так искренно и правдиво?

В литературе до сих пор не было ничего похожего, если не считать произведений малоизвестного Стендаля. Случаен ли реализм в России? Или он происходит из каких-то особенностей

416

национального характера? Я долго ломал себе голову над этим и не мог найти ответа...» [10, с. 344 – 345]. К письму был приложен его роман «Мисс Равенел».

Из Японии пришли письма и книги от Токутоми, одного из первых восточных писателей, вступивших в общение с Толстым.

Новые посетители появлялись на пороге дома Толстого, новые книги занимали свое место на полках его библиотеки. И неудивительно, что она становилась собранием всемирных новинок.

Никакие собственные усилия Толстого не позволили бы ему создать свою библиотеку, в тех ее объемах и масштабах, в каких она существовала. Для этого понадобились особые условия.

«Библиотека Ясной Поляны составлялась целым миром», – отметил Д. П. Маковицкий. Именно поэтому библиотека Ясной Поляны является не только одним из богатейших собраний книг, но и хранилищем мировой славы Толстого.

Л. Н. Толстой и книга. – М., 1979.

Прмечания

1. Горбачевский Б. Люди, книги, библиотеки. – М., 1963.
2. Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. – М.: Книга. – Ч. I (А – Л), 1972; Ч. II (М – Я), 1975.
3. Грузинский А. С. Ясно-Полянская библиотека // Толстовский ежегодник. – М., 1912.
4. Сахалтуев А. А. Лев Толстой за чтением Виктора Гюго // Материалы VI конференции. Филологические науки. – Шадринск, 1969.
5. Лебедева В. А. Толстой за чтением книги Герцена «С того берега» // Яснополянский сборник. – Тула, 1962.
6. В. И. Ленин о Л. Н. Толстом. – М., 1972.
7. Зайцев В. Был ли знаком Л. Толстой с марксистской литературой? // Литература в школе. – 1961. – № 6.
8. Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 20.
9. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. – М., 1953.
10. Литературное наследство. – М., Наука, 1965. – Т. 75. – Кн. 1.

417

«Нравственная тишина». В. В. Розанов в Ясной Поляне

Имя В. В. Розанова напоминало Толстому о Н. Н. Страхове. Еще в 1890 году Страхов прислал Толстому статью Розанова, напечатанную в журнале «Вопросы философии и психологии».

В этой статье Розанов характеризует Страхова как уединенного мыслителя. Он вообще особенно ценил его за то, что тот «не шумел, не кричал, не агитировал, а сидел тихо и писал книги».

Толстой и самого себя относил к типу уединенных писателей. Ему понравилась статья Розанова. «Мне понравилось именно то, что она высказывает то самое, что я всегда чувствую от чтения Ваших книг», – сообщал он Страхову.

Что касается Розанова, то одной из своих важнейших книг он дал название «Уединенное». Это название должно было указать на его особенную, личную позицию в современной литературной жизни и в общественной борьбе.

Он хотел мыслить и писать «без постороннего». «Просто» душа живет, т. е. «жила», «дохнула». Такое общее понимание своей задачи сближает Розанова со Страховым, но он так же, как Страхов, был не только философом, но и публицистом.

Поэтому в его писаниях есть глубокое внутреннее противоречие, сближавшее его не только со Страховым, но и с Толстым. Это противоречие заключается в том, что он, «самый уединенный из писателей своего времени», был вместе с тем и самым публицистичным среди них. Как будто он уединился в доме, охваченном пожаром. В эпоху больших политических страстей и волнений легко возникает пренебрежение к мысли, затмеваемой

418

Э. Г. Бабаев

Варвару Дмитриевну он называл человеком добрым по какому-то особенному природному свойству души. «Она много чище меня сердцем. Я больше стараюсь быть чистым, чем это умею».

Тут речь шла о каких-то кровных особенностях природы. «Бывает кровь у человека природно добрая, – тогда ему добро легко дается, само нисходит (такова жена моя)...» Розанов хотел поговорить с Толстым о семье, для него это было очень важно. «Такой крови у меня нет. И я понимаю добро, а делаю его плохо». Он предлагал разговор в тоне искренности и простоты.

Розанов ничего не говорил о том, как отнеслась его жена к встречам и беседам в Ясной Поляне. Но свой очерк «Поездка в Ясную Поляну» подписал псевдонимом Варварин, так что тут была как бы и подпись Варвары Дмитриевны.

У Розанова были свои причины для поездки в Ясную Поляну. Не для того, чтобы услышать поучение Толстого, не для того, чтобы завоевать его внимание или признание, а для того, чтобы просто увидеть его как некую меру вещей. «Быть русским и не увидеть гр. Л. Н. Толстого – это казалось мне так же печальным, как быть европейцем и не увидеть Альп...»

«Но я не стану обременять Вас длинными беседами, – пишет Розанов, – так, может быть, что-нибудь скажем друг другу, что минута подсказет...» Странное, казалось бы, условие, но Толстой, приняв его, почувствовал особенный склад речи и души Розанова. «Мотивы увидеть Вас – очень разнообразны», – пишет Розанов. Но ни одного из этих мотивов не называет и не объясняет. «Человек, я думаю, – факт природы, и бывают факты обыкновенные и чрезвычайные...»

«С другой стороны, – продолжает свой странный разговор Розанов, – я один раз живу в жизни. Не увидев Вас, я нечто потеряю, но поверьте – не в смысле любопытства, которого у меня чрезвычайно мало».

Толстой привык уже к странностям своих новых знакомых. Но Розанов, пожалуй, был одним из самых странных его посетителей. «Может, новая вереница мыслей почнется».

Одним словом, собирался, как в Альпы.

Ясная Поляна показалась Розанову пустынной. «Я приехал часу в 11-м или 10-м, а в столовой сидели один или два господина и, помнится, женщины».

Его поразило, что он не увидел и не услышал детей в большом барском доме. «И как большой барский дом не шумел дет-

420

действием. Деятельность Толстого, Страхова и Розанова была своего рода предостережением от пренебрежения мыслью. Но отношения между ними были сложными.

В январе 1903 года Розанов прислал Толстому письмо, в котором просил у него разрешения приехать в Ясную Поляну. Толстой тогда был болен и предложил несколько отложить визит до его полного выздоровления.

В феврале он написал Розанову, что ждет его. «Только на днях стал выходить и почувствовал себя крепче. Надеюсь, что Вы теперь исполните намерение посетить меня. Теперь я особенно усердно прошу Вас об этом». Толстой опасался, что его первоначальный отказ мог произвести неблагоприятное впечатление на Розанова. А для отказа были некоторые причины. Ведь уже была, например, напечатана резкая статья Розанова «Пассивные идеалы» о романе «Воскресение».

Но человек сложнее самого себя. И Толстой никого не отстранял от себя, если к нему обращались, например, с просьбой о встрече для беседы. Что же касается Розанова, то его к тому же как бы рекомендовал Страхов, которого уже давно не было на свете. «Он любил и ценил Вас, а я всегда с любовью вспоминаю про милого, доброго ученого, смиренного и не по заслугам ценившего меня Страхова». Это последнее замечание относится прежде всего к статьям Страхова о «Воине и мире». Когда на Толстого в конце 60-х годов, при начале великой русской публицистической смуты, обрушилась целая туча камней и стрел, он сказал, обращаясь к критикам великого писателя: «Кажется, легко понять, что не “Воину и мир” будут ценить по вашим словам и мнениям, а Вас будут судить по тому, что Вы скажете о “Воине и мире”».

Это были слова мудрого предостережения, сказанные вовремя и до сих пор сохраняющие свое значение. Они отозвались позднее и в суждениях Розанова о Толстом, когда нападки на него в 1900-е годы достигли небывалых размеров.

Розанов приехал в Ясную Поляну 6 марта 1903 года. Он приехал не один, а с женой Варварой Дмитриевной. Ее участие в поездке имело для Розанова особое значение. Он говорил об этом в письме к Толстому накануне приезда. «Если Вы мне позволите к Вам приехать, не откажите разрешить со мною посетить Вас и жене моей. Она женщина ненавязчивая, скромная, совершенно без праздного любопытства, но любит меня давнишнюю глубокою любовью и хороша христианка».

419

Статьи II

скими криками, вознею и капризами, то мне показалось в нем скучновато».

Впечатление скуки усиливалось в ожидании встречи с Толстым. Вот вошла Софья Андреевна – «и я сейчас же определил ее как “бурю”. Платье шумит. Голос твердый, уверенный. Красива, несмотря на годы».

Разговор Софьи Андреевны был такой же громкий и уверенный, как она сама. Она сказала Розанову, что ей 58 лет, что у нее было 14 детей. «Это хорошо и классично», – заметил Розанов в своих записках. Наверное, он сказал это и Софье Андреевне.

«Мне казалось, что ей все хочет повиноваться или не может не повиноваться; она же не может и не хочет ничему повиноваться. Явно – умна, но несколько практическим умом». «Жена великого писателя с головы до ног, как Лир был “королем с головы до ног”». Розанов успел окинуть взглядом комнаты Ясной Поляны. Они тоже показались ему пустынными. И бедноватыми. Странно, что этого не замечали другие.

«Я еще раз посмотрел на пустые, далекие от великолепия комнаты... Здесь не стала бы танцевать Анна Каренина...»

Впечатление от встречи с Софьей Андреевной было сильным, но несколько разочаровывающим. И умна, и практична, и похожа на «бурю». «Но и это неинтересно, когда ожидаешь Толстого...» Розанов был великим мастером определять явления. Он и для Толстого нашел удивительное определение – «Моисей небольшого роста». «И вот он вошел. Но почему он такой маленький, с меня или немного больше меня ростом?»

«Я ожидал, – пишет Розанов, – большого роста – по портретам и оттого, что он – “Альпы”». «Кажется ли Вам, что Авраам или Моисей “небольшого роста”? Микель Анджело Моисей представлялся колоссом, как он изваял его...»

«Но, может быть, – продолжает Розанов, – в сущности, Моисей был плогавым?» Речь идет вовсе не о Толстом, а о соотношении духа и внешнего облика. Тут возможны несовпадения.

«Я замечал, что душа и тело, величие души и тела, тенденции души и тела и, наконец, красота души и тела не ходят иногда во взаимном отрицании, во взаимном поправлении. Но это – в идее. А когда увидишь – удивляешься». «И я внутренне удивлялся, когда ко мне тихо-тихо и, казалось, даже застенчиво подходил согбенный годами седой старичок. Автор “Воины и мира”! Я не верил глазам, т. е. счастью, что вижу...»

421

Розанов смотрел на Толстого глазами художника. В самом имени Толстого был заключен целый мир метафор и перевоплощений, которые естественно вырастали из «исповеди» и «проповеди».

Духовно он уже давно покинул «усадебу». И жил вне Ясной Поляны, вне барского дома. «Мне показался безусловно прекрасен», — пишет Розанов. «Именно так ему и должно быть».

А как должно быть? Должно быть не в «доме», а в «миру». «Как все это не идет к нему, отлепилось от него! Сидеть бы ему на завалинке около села или жить у ворот монастыря... — в хибарочке, старцем...» Розанов угадал мечту Толстого. Пройдет еще несколько лет, и он попытается найти для себя место в Оптиной пустыни, именно у ворот монастыря, в хибарочке, неподалеку от «старцев». «Молиться, думать, говорить не с “гостями”, а с прохожими, со странниками, — самому быть странником».

Розанов сказал, что Толстой не «вошел» в комнату, где его ждали «гости», а «вышел». Это слово очень важно для характеристики его отношения ко всему окружающему и к Ясной Поляне.

«Он явно вышел, перерос условия видимого индивидуально-го существования, — пишет Розанов, — положения в обществе, “профессии”, художества и литературы». «Исповедь» Толстого как раз и доказывала, что он «изо всего вышел».

Толстой, который «изо всего вышел», должен был остаться одиноким. И он был одинок и грустен, «но велик и своеобразен». Это чувствовалось во всем. Даже в самой обстановке яснополянского дома. Кроме Розанова, тогда этого никто не чувствовал.

С тех пор как Толстой сказал или подумал: «Мне ничего не нужно», — вдруг улетела «душа вещей». Как будто каждая вещь в доме сознавала, что на нее больше не любит хозяин. Так начинается упадок дома и мира.

«Так умирает верная собака, когда она не нужна хозяину», — пишет Розанов. Именно такое впечатление произвела на него внешняя обстановка в Ясной Поляне. Он заметил, что «душа вещей» здесь была уже потеряна.

«Все вещи стояли некрасиво; все вещи были некрасивы; чувствовалось, что им не хочется жить. “Скоро вынесут”, — как бы говорила каждая про себя».

«Человек — центр вещей», — пишет Розанов, — здесь в центре стоял человек, которому вещи были не нужны. И они рассыпались, потеряли гармонию, связанность, красоту, смысл».

422

423

и Софья Андреевна. Все говорили, «как в обществе», «ненужные, тяжелые, скучные речи».

Тут было много сказано обо всем, без особенного разбора, но «это уже не были Альпы, это были переулочки и пригорки в Женева, близ Монблана. Тут нечего было помнить, и я ничего не запомнил...» Зато во время общего обеда он сделал еще одно важное наблюдение. Толстой сидел за столом один, «и смешиваясь, и не смешиваясь с остальными». В чем было различие? В том, что он ел не то, что все.

Всем подавали мясное и яичницу, а ему кисель и кашу. «Пища вообще есть большое разделение или соединение людей», — говорит Розанов. И это тоже был особый «метод жизни». Дело не в том, что он ел кисель или кашу, а в том, что он преодолел склонность к «всеядности» не только в пище физической, но и в пище духовной. «“Новая религия” до известной степени начинается с “новой еды”: ведь и христианство пошло не только от Голгофы, но и от постов». «Или, точнее: Голгофа не ранее начала побеждать мир, когда она соединилась с постом, нашла секрет действия на души людей в грибе, каше и супе».

Рассуждение о философии Толстого завершается противопоставлением двух начал, из которых одно имеет достоинство стиля — пост, а другое содержит в себе залог разрушения и хаоса — всеядность. «Теперь цивилизация всеядно-неопределенная, и стиль эпохи потерян».

Рассматривая философию Толстого как «метод жизни», Розанов увидел в его произведениях нечто такое, на что до него не обращали внимания. В романе «Воскресение» он считал самой трагичной судьбу «внебрачного ребенка» Катюши Масловой.

Толстой как бы между прочим сказал, что «ребенка, мальчика, отправили в воспитательный дом, где ребенок, как рассказывала возившая его старуха, тотчас же по приезде и умер».

Эти строчки в самом начале романа остановили Розанова. И он хотел получить у Толстого некоторое разъяснение относительно затронутой им проблемы с точки зрения именно «метода жизни».

«Дело шло об убийстве внебрачных детей — ему посвящены страницы “Воскресения”, о чем явно глубоко и со страхом думал Толстой, тревожился об этом глубокою сердечною тревогой».

Эту тревогу Розанов чувствовал в романе Толстого яснее, чем кто-либо другой. Розанов решился высказать свои сомнения относительно «законного супружества» и «обрядов венчания», ко-

424

Розанов угадал уход Толстого, почувствовал его «отталкивание» от всего, что его окружало.

Дом удерживался «твердой и уверенной рукой» Софьи Андреевны. Ее голосом, ее красотой. Здесь еще все, кроме Льва Николаевича, хотело ей повиноваться. Зато и она не повиновалась Льву Николаевичу, что тоже заметил своим острым глазом Розанов.

Впрочем, он не судил об отношениях между Толстым и Софьей Андреевной. Он говорил лишь о «буре» и «тишине» в яснополяском доме.

«Нравственная тишина, которая неодолимо раздражения и ярости. Разве не тишиною (кротостью) Иисус победил мир, и полетели в пропасть Парфеноны и Капитолии, сброшенные таинственно тишиною?» «Нравственная тишина» — точный термин философии Толстого, сущность его «философии жизни».

В том, что Толстой всегда был философом, никто не сомневался. Но его философию как-то трудно представить себе в форме строгой логической системы. Такого рода догматическое изложение его воззрений в определенных понятиях всегда оказывалось неудачным. «Вот эта мировая тишина, особенная, многозначительная, религиозная, была и в Толстом. Не она ли есть то “неделание”, которое представлялось нам таким незначительным в его проповеди, то есть незначительным в формуле...»

«Незначительное в формуле» становится многозначительным в существе, в «методе жизни» — вот начало русского экзистенциализма, возникшего в произведениях Толстого задолго до появления этого течения в философии. То, что писал Толстой, многим оказалось «не по зубам». «А мы, — признается Розанов, — читая его бледные дела и не понимая, в чем дело, смеемся и отрицаем». Иначе говоря: философия жизни, изложенная отвлеченными понятиями, «бледнеет», теряет яркие краски.

«И я смеялся и отрицал (в литературе), — признается Розанов, — а когда увидел, то сказал: “Хорошо”». Что сказал Розанов? Он сказал: «Хорошо таким быть, хорошо бы такому всему быть. Зачем грозы, зачем бури, шум? Это ненужно и мелко...»

«Тишина — в ней бездонная глубь...» Рассказ Розанова о его поездке в Ясную Поляну был вместе с тем исповедью в грехе осуждения Толстого. Он считал и себя повинным в нем и указывал на свою ошибку в отношении к его философии.

Тишина запомнилась, а буря забылась. В ожидании встречи с Толстым он провел некоторое время в общей гостиной. Там была

тому приносятся такие большие жертвы. Толстой, отвергнувший многие авторитеты, вошедший в такой глубокий конфликт с церковью, мог бы преподать миру еще один урок.

«Мне хотелось полу-спросить его, полу-упрекнуть его и полу-попросить в том смысле: почему он, всемирно-моральный авторитет, не отдаст своих дочерей замуж “так”, без венчания, чему был бы подан пример во всей Европе...»

Толстой не без удивления слушал своего гостя.

Разговор о «форме брака» имел для Розанова большое и личное значение. Он не утаил этого от Толстого, хотя в своем очерке оставил пробел. Только упомянул о том, что в уединенной беседе изложил Толстому свой «вопрос».

Он говорил о судьбе своих дочерей. «Из моих дочерей, — говорил Розанов, — одна венчалась оттого, что муж ее в бытность женихом сказал, что он ни за что не вынес бы ни малейшего умаления уважения, достоинства, престижа дорогой ему девушки...» «Муж другой дочери, напротив, — продолжает Розанов, — искренний и страстный борец против церковной обрядности, идеалист и герой этой борьбы. И он сказал: “Мне легче повеситься на березе, чем пойти в церковь и совершить обряд, до такой степени враждебный всему строю моих чувств”».

Так в одном честном семействе сошлись столь противоположные начала и решения «формы брака» на переломе русской жизни в конце XIX столетия.

Рассказ о судьбе дочерей сохранился только в рукописи очерка Варварина. В архиве Розанова. Пропущенные строкигодились для «Уединенного», самого «личного» произведения Розанова, но негодились для газетной публицистики.

И так уж в очерке Варварина было много личного.

Еще через десять лет, в 1912 году, в сборнике «Уединенное» Розанов признался в том, что разговор с Толстым о браке и семье оказался для него разочаровающим. Толстой не только не восхитился его планом устройства семейной жизни «без венчания», «так», но и стал защищать традиционные формы жизни.

Впрочем, разочарование было взаимным. Толстой сказал Софье Андреевне, что Розанов был ему «мало интересен». К тому же он прибавил еще, что был поражен его малой образованностью. Как все-таки трудно двум философом, если это Толстой и Розанов, понять друг друга... Очевидно, уединенный философ в большей степени нуждается в уединении, чем во взаимодействии!

425

Толстой простодушно считал, что ни при какой форме брака нельзя избежать жестокости по отношению к «нежеланным детям», если нет к ним настоящей любви. И нет семьи, как об этом написано в «Воскресении».

Толстой был удивлен тем, что Розанов связывает участь «несчастливого младенца» с формой брака. Как будто церковный брак может быть причиной его гибели. Или гражданский брак, не говоря уже о супружеской жизни «так», без всякого брака, может защитить его от превратности судеб.

Такую точку зрения Толстой считал наивной. Что касается романа «Воскресение», то здесь речь идет именно о «невоздержанности», которая входит как весьма важная психологическая черта в характеристику «нехлюдовщины».

Поэтому Толстой и говорил Розанову, который ожидал от него «парадокса», свое простое и тихое суждение: «надо воздерживаться». Розанов провел в Ясной Поляне целый день.

«Арабский бегун бежал в пустыне, а за спиной его 76 лет...» — вот какой был Толстой, каким его увидел Розанов в 1903 году, через два года после отлучения от церкви.

Кстати, об отлучении от церкви в своем очерке Розанов не говорит ни слова. «Так я увидел “Монблан” нашей жизни. Был 10-й или 9-й час ночи. Подали лошадей, зазвенел колокольчик у крыльца». Толстой вышел проводить гостя. И тогда произошла эта безмолвная сцена на дороге.

«Прощаясь, я поцеловал его и поцеловал его руку — ту благородную руку, которая написала “Войну и мир” и “Анну Каренину”, столько еще, что, читая, мы были так счастливы...»

Варварин покидал Ясную Поляну. «И вообще мне показалось, что я вижу точно то, чего и ожидал, — феномен природы — “Альпы”».

Из того, что Толстой тяготел к «нравственной тишине», как известно, вовсе не следует, что он избегал споров, конфликтов и столкновений со своими современниками.

Напротив, чаще всего он выступал именно как «возмутитель спокойствия», когда вокруг его имени образовывались настоящие вихри страстей.

По существу, только ранние произведения Толстого: его автобиографическая трилогия «Детство. Отрочество. Юность», а также «Севастопольские рассказы» были приняты с каким-то общим благодарным чувством и восхищением.

426

И не только о Толстом. Но и о себе самом. Если в статье «Пассивные идеалы» Розанов выступал в роли обличителя, то в статье «О писателях и писательстве» слышалась его авторская исповедь.

А исповедь обличителя всегда бывает интересна. Розанов опять вспомнил повесть «Хозяин и работник», но смысл ее истолковывал уже по-другому. В самом деле, о чем эта повесть?

Надо взглянуть в ее исторический и бытовой фон. «Мрак и ночь, печаль и скорбь — во мне и окрест меня; никаких путей: все концы потеряны...»

Конечно, это «memento mori». Но не только о смерти говорит Толстой. Нет, если вдуматься, он говорит вовсе не о смерти. Он произносит какие-то нелогичные и как будто совсем не идущие к делу, даже очень наивные слова: «Будем любить друг друга, это одно остается нам, бедным...»

Далее Розанов такими же наивными словами, уже от своего имени объясняет смысл повести Толстого: «Все-таки это какой-нибудь свет, или, по крайней мере, это — замена истинного света. Это еще согревает или может согреть нас на срок недолгой и понятной и непонятной жизни. За ее чертой — молчание...»

«Таков смысл “Хозяина и работника”», — говорит Розанов.

В то время как многие, может быть, слишком многие, обличали Толстого, Розанов оглянулся на самого себя. И заговорил покаянным голосом.

«Великий ум, объятый еще более великой тьмой; эта тень — тень нашей жизни: в ней мы виноваты — я, он, десятый, сотый». Так разворачивалась «исповедь обличителя», спрятанная в неприязнительную форму литературного очерка.

В статье «Пассивные идеалы» Розанов утверждал, что «толстовство» — это «экзальтация без веры». Это была остроумная и едкая формула, острый камень, брошенный в автора «Воскресения».

В статье «О писателях и писательстве» Розанов говорит: «Ведь это мы безверны, лукавы, холодны... Он так же безверен, но уже не лукав, не холоден, не двоедушен, как мы...»

Свои речи Розанов говорил «тихим голосом»; не удивительно, что многие их не слышали. Не слышат их и сегодня многие. Но от этого они не становятся менее убедительными.

В эпоху всеобщего, казалось бы, осуждения Толстого Розанов тихим голосом сказал: «Опомнитесь!» И добавил: «Поистине-

428

Но после «Казачков» и связанного с ними замешательства каждое новое произведение Толстого вызывало в печати и «ропот хвалы», и «дикие крики озлобленья».

Так это было во времена «Войны и мира» и «Анны Карениной». Так это было и во времена «Воскресения». Обсуждение романа постепенно переросло в осуждение Толстого. Это было настоящее восстание против него. В нем участвовал и Розанов. Тогда в Толстого была брошена целая туча камней. И один из них был направлен сильной рукой Розанова.

Статью о «Воскресении» Розанов написал еще до того, как было обнародовано определение Синода. Но она во многом предугадала возможные пути осуждения Толстого за его «пассивные идеалы».

«В Толстом, — пишет Розанов, — можно подметить вечную борьбу со своими личными, стихийными, искристыми силами и вечное умирление на идеалы нисхождения, умирения, склонения долу, смерти».

Статья Розанова о «Воскресении», напечатанная в газете А. С. Суворина «Новое время», так и называлась: «Пассивные идеалы». Эти идеалы, по мнению критика, наиболее отчетливо представлены кроме «Воскресения» в повести «Хозяин и работник». Содержание этой повести можно выразить одной «краткой формулой»: «Хорошо умереть». И в романе «Воскресение», в сцене отчаянного свидания Нехлюдова с Катюшей Масловой в тюрьме, слышится чей-то крик: «Говорят тебе, помирает, чего ж еще?»

Позднее творчество Толстого — это какое-то великое «memento mori», провозглашенное великим «певцом жизни».

Для «Воскресения» как раз и нужны были именно «искристые силы», которыми переполнены произведения Толстого, написанные до перелома в мирозерцании. Вот Пьер Безухов или Анна Каренина — те могли бы «воскреснуть». Что же касается «последнего переломного» Нехлюдова, то у него, захваченного «пассивными идеалами», нет такой душевной силы.

Так рассуждал Розанов в своей статье о «Воскресении», написанной и напечатанной в 1900 году.

Так Розанов оказался в толпе обличителей Толстого. Но толпа — это не место для Розанова. Можно было предположить, что он постарается выбраться из крикливого скопища хулителей великого писателя.

Так и случилось. В 1902 году он напечатал статью «О писателях и писательстве». И там есть несколько страничек о Толстом.

427

не, каждое обвинение, какое мы хотели бы бросить в Толстого, падает обратно на наши головы».

Это исповедальное суждение Розанова принадлежит к важнейшим словам, какие когда-либо были сказаны о Толстом.

Камни, которые были брошены в Толстого, восставшие на него по необходимости должны были бросать вверх. Поэтому они и упали, спустя некоторое время, «на наши головы».

Эта простая мысль Розанова похожа на притчу. Да она, кажется, и позаимствована им из старой басни И. А. Крылова «Безбожники». В этой басне говорится о том, как толпа «безумцев» восстала на Юпитера:

*Зачинщики из удалых голов,
Чтобы поджечь в народе буйства
боле,
Кричат, что суд небес и строг
и бестолков;
Что боги или спят,
иль правят безрассудно;
Что проучить пора их без чинов;
Что, впрочем, с ближних гор
каменьями нетрудно
До неба дошвырнуть в богов
И заметать Олимп стрелами.*

А что же Юпитер? Он был молчалив и ждал, что выйдет из этой всей затеи. Поступил как истинный «непротивленец», предоставив событиям развиваться своим путем от «бесчинства» к неминуемому «возмездию». Весь Олимп был в смутении, и только один Юпитер сохранял спокойствие.

*«Пождем, —
Юпитер рек, — а если не
смирится,
И в буйстве прекоснят,
бессмертных не боясь,
Они от дел своих казнятся.»*

Все и совершилось по слову Юпитера. И вышла настоящая притча:

429

Толстой всегда был слабым мыслителем. И указывал на его педагогические сочинения, проникнутые духом истинного народолюбия. Здесь Толстой вдруг поднимается «выше своей среды». «Все условия жизни гр. Толстого... гнали и гонят его в сторону от того, что он считает истиной. И если он все-таки пришел к ней, — пишет Михайловский, — то, как бы он себе ни противоречил, мы должны признать, что это мыслитель честный и сильный, которому довериться можно, которого уважать должно» [9].

Своеобразие Толстого, по Михайловскому, как раз в том и состоит, что он был одновременно и «слабым художником» и «сильным мыслителем», как был он в то же время и «сильным художником» и «слабым мыслителем». Силу (и в том, и в другом случае) Михайловский называл «десницей», или «правой рукой», а слабость (тоже в обоих смыслах) — «левой рукой», или «шуйцей» Льва Толстого.

Оба основания, на которых покоилась двойственная репутация Толстого, таким образом, были «прокритикованы» самым решительным образом. Михайловский снимал ограничения теории Скабичевского, шел значительно дальше в теоретическом осмыслении пути и опыта Толстого. Общая критическая концепция Михайловского по сравнению с аксиомой Скабичевского оказалась более сложной. Но Михайловский сомневался в том, что Толстой может стать народным писателем: «Как человек известного слоя общества, [он] слишком близко принимает к сердцу мелкие радости и тревоги этого слоя, слишком ими занят, чтобы отказаться от поэтического их воспроизведения» [10]. Иными словами, для него Толстой оставался прежде всего графом, дворянским писателем, живописцем «аристократических салонов».

Краткая формула Михайловского («десница и шуйца») не принялась ни в критике, ни в истории литературы. В ней не было ясности. Она возникла как противовес аксиоме Скабичевского, но только переформулировала и усложнила ее. М. А. Протопопов в одной из своих статей заметил, что лучший ответ на вопрос: что такое «шуйца и десница?» — «следует искать у Скабичевского» [11]. И сам Скабичевский вовсе не считал свою аксиому опровергнутой. Во всяком случае, в своей книге он пользуется терминами Михайловского как своими собственными.

Толстой объяснял неприязнь крупнейшего деятеля народнической критики к его сочинениям тем, что Михайловский вообще «игнорировал область религиозную».

434

Провозвестником нового взгляда на искусство и литературу был Г. В. Плеханов. Он был современником Толстого. На его памяти входили в круг чтения русских людей такие великие книги, как «Война и мир» и «Анна Каренина».

Как литературный критик Плеханов формировался в народнической социологической школе. Можно даже утверждать, что Михайловский сохранял определенное влияние на эстетику Плеханова даже и после того, как тот стал марксистом. Во всяком случае, в цикле его статей о Толстом чувствуется старая социологическая традиция, восходящая не только к Михайловскому, но даже и к Скабичевскому.

Прежде всего Плеханов отрицал единство творчества Толстого в духе известной теории о «деснице и шуйце». Плеханов не стал углубляться в ее тонкости, а попросту воспользовался аксиомой Скабичевского: «Я считаю его гениальным художником и крайне слабым мыслителем», — и при этом сослался на Михайловского: «Прежде, скажем в эпоху покойного Н. Михайловского, Толстого любили передовые русские люди именно только «отсюда и досюда». И это было гораздо лучше» [14].

Естественно возникал вопрос: где искать «границы», обозначенные словами «отсюда» и «досюда»? «На этот вопрос легко ответить», — пишет Плеханов. Он сам прежде всего ценил в Толстом такого писателя, который воспользовался своим огромным художественным талантом для того, чтобы «наглядно, хотя, правда, только эпизодически, изобразить... неудовлетворенность нынешним общественным строем». «Вот откуда и до куда любят Толстого действительно передовые люди».

Плеханов «сверял» Толстого с Марксом и находил глубокое различие между метафизикой первого и диалектикой второго. «Прямо противоположен Марксу Толстой и в своем отношении к религии», — пишет Плеханов. Конфликт Толстого с церковью мало занимал Плеханова, и он, по-видимому, считал его несущественным. Актуальным было другое — «преодоление» Толстого в интересах революции. «Он был и остался в стороне от нашего освободительного движения. Толстой был и до конца жизни оставался большим барин». Здесь, кажется, уместно напомнить о том, что точно так же характеризовал Толстого и Михайловский: «Гр. Толстой есть барин, — умный, изумительно талантливый, всячески желающий отделаться от своего барства, и все-таки барин» [15].

436

В. Г. Короленко много лет работал вместе с Михайловским в журнале «Русское богатство». В известном смысле его можно назвать хранителем наследия народнической критики, но многое в суждениях Михайловского представлялось ему спорным и даже неверным. Так, он считал ошибочным взгляд на Толстого как на статичное явление. Короленко хорошо знал Толстого: «Я видел его в начале последнего периода его жизни, когда Толстой — великий художник, автор «Войны и мира» и «Анны Карениной» — превратился в анархиста, проповедника новой веры и непротivления» [12]. Этот фазис Михайловский считал последним, окончательным и неизменным. Но Короленко смотрел на вещи иначе: «Потом я видел его на распутии, когда, казалось, он был готов еще раз усомниться и отойти от всего, что нашел и что проповедовал: от анархизма и от непротivления». Протivопоставление Толстого-художника Толстому-мыслителю Короленко считал условным и уж совсем не мог признать его ни «слабым художником», ни «слабым мыслителем». Он не разделял мысли Михайловского о том, что будто бы Толстой как граф принадлежит к «ретроградным слоям» русского общества» [13]. Не был согласен Короленко и с тем, что Толстой будто бы по причине своего графского происхождения не может быть народным писателем. Напротив, он считал, что и в отдаленные времена на рубеже двух давно истекших столетий еще будет видна величавая фигура, в которой, как в символе, воплотились и лучшие стремления нашего темного времени. Это будет символический образ гениального художника, ходившего «за мужицким плугом, и российского графа, надевшего мужицкую сермягу».

Писательские очерки вносят очень часто «фантастический элемент» в докторальную критику, смячая ее жесткую схему. Так это было в случае с Короленко. Он противопоставил жесткой социологической народнической критике художественное разумение.

«Взятый как целое»

Марксистская критика создала уникальную область эстетики и социологии, где критерием художественной и публицистической правды становится классовое сознание и классовая точка зрения на характеры и исторические события.

435

Большое внимание Плеханов уделял противоречиям Толстого, но считал их изъяном его логики. «Не было и нет людей более далеких от него, — пишет Плеханов о Толстом, — нежели современные социалисты» [16].

В. И. Ленин подчеркнул эти слова Плеханова в его статье «Смешение представлений». Он одобрял «бунт Плеханова» против «идеализации Толстого». Вместе с тем Ленин вполне преодолел народническую социологию и пресловутую теорию «двух Толстых» [17]. В противовес Плеханову он разрабатывает целостный метод анализа творчества писателя: «Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенность нашей революции...» [18, т. 20, с. 103]. Эта целостная формула сохранилась в рукописи Ленина. Точка зрения Ленина шла вразрез с теми итогами, которые были уже сформулированы в народнической и марксистской критике. Но в первых трех изданиях собрания сочинений Ленина вместо упомянутых слов: «взятых как целое» печаталось: «вредных как целое» [19]. Если Толстой «вреден как целое», то вполне оправдан «выборочный метод» («отсюда и досюда»). Подлинный текст был восстановлен лишь в 1952 г. [20]. Две взаимоисключающие формулы!

Но вот что удивительнее всего: в газете «Пролетарий», где впервые была напечатана статья «Лев Толстой как зеркало русской революции», мы читаем: «Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, вредных как целое...» [21]. Редактором газеты «Пролетарий» был Ленин. В рукописи, таким образом, сохранялся первоначальный вариант, а в печать попала исправленная формула. Чем объяснить такое расхождение формулировок? Требованиями сиюминутных задач политической борьбы и одновременно пониманием вечной ценности наследия великого художника? Как бы там ни было, но статьи Плеханова и Ленина показывают, как трудна была «проблема Толстого» для марксистской критики.

В отличие от Плеханова Ленин не склонен был преуменьшать значения конфликта Толстого с церковью. Нет необходимости приводить здесь соответствующие высказывания Ленина: его статьи о Толстом хорошо изучены и достаточно широко известны. Следует лишь заметить, что он стремился к максимальной политизации этого конфликта. И судил о «религии Толстого» с позиций «воинствующего материализма». Поэтому само появление на арене русской журналистики религиозно-философ-

437

кой критики нового поколения Ленин воспринимал как курьез или парадокс времени. Когда вышел в свет сборник «Проблемы идеализма» (1902), Ленин назвал его участников «чепуцистами» [18, т. 55, с. 227]. Не только потому, что участниками этого сборника были недавние марксисты (С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев и др.), но и потому, что он считал их направление недолговечным и бесперспективным. Но русская философская критика начала XX в. создавала свою культурную традицию, вносила новые начала в эстетическую и историческую критику искусства.

ПОПЫТКА ФИЛОСОФСКОГО СИНТЕЗА

Испытание добра

В отличие от Толстого его младший современник В. С. Соловьев был человеком церковным. Он чувствовал, что Толстой приближается к опасной грани, за которой он окажется вне пределов церковного и православного космоса. Разрушение христианства приводит к «угашению духа», и в результате возникает нечто похожее на буддийское «неделание» и «отвращение от всего земного». Соловьев находил эту тенденцию уже в романе «Война и мир». Сцену смерти Андрея Болконского он называет «апофеозом смерти». «Наступающая смерть и прозрение в нирвану вызывает в умирающем только полную апатию (бесстрашие) и равнодушие ко всему, даже самому дорогому в жизни... Является любимая женщина и не находит в умирающем никакого участия» [22].

«Буддийские настроения» Соловьев считал следствием и признаком упадка христианского самосознания. И дело тут не в историческом интересе к восточным верованиям вообще, а в том, что такого рода настроения проявляются в современной литературе и в поэзии как бы стихийно. «Настоящим представителем буддийского настроения, — пишет В. Соловьев, — должно будет признать такого поэта, который, по-видимому, вовсе не интересуется буддизмом...» Такого рода поэтом Соловьев готов был признать Толстого, уже явно и далеко отступившего от церковного и православного мирозерцания. Так, за проповедью «неделания» и «озерцания» угасает «поэзия жизни и воскресения». Зато получают особое значение мотивы непротивления, смире-

438

ния, покорности и безнадежности. Поэт становится «буддистом... не в смысле каких-нибудь догматов и учений, а в смысле того душевного настроения, которое кристаллизовалось исторически в религии Шакья-Муни, но может существовать индивидуально, независимо от нее». Непреодолимо и как будто неожиданно (а на самом деле вполне закономерно) на месте «жизни и воскресения» оказывается «смерть и искупление». «Искупление, примирение — только в смерти... Тут уж смерть является не только как единственное разрешение жизненных противоречий, но и как единственное истинное благо и блаженство».

Отголоски этой мысли есть и в замечательной книге И. А. Бунина «Освобождение Толстого», которая начинается с размышления о Будде, нашедшем «освобождение от смерти», и цитирования слов Толстого: «Мало того, что пространство и время и причина суть формы мышления и что сущность жизни вне этих форм, — но вся жизнь наша есть (все) большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них» [23, с. 7]. Но в отличие от Соловьева Бунин вовсе не считал, что буддийское настроение есть итог жизни Толстого. Это была лишь остановка на пути. Бунин приводит Толстого к воротам Оптиной пустыни в поисках «жизни и воскресения». Соловьев был бы потрясен, если бы мог прочесть о том, как Толстой стоял у ворот монастыря и говорил: «Скажите, что я Лев Толстой, может быть, мне нельзя?» [23, с. 20].

Владимир Соловьев часто вел полемику с Толстым, не называя его по имени. В книге «Три разговора» есть страницы, имеющие прямое отношение к толстовской теории «непротивления злу насилем». Толстой легко опровергал житейские доводы своих критиков, когда его, например, спрашивали, как быть с непротивлением, если нападет тигр. «Да какой же тигр, откуда тигр? — говорил Толстой, смущенно улыбаясь. — Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра».

Оставив в стороне эту милую шутку с тигром, Владимир Соловьев взял более простой сюжет. Как известно, он был искусным полемистом, знатоком и мастером иронической поэзии и очень ценил убедительность абсурда, особенно в спорах о серьезных вещах. Так, Соловьев воспроизвел в «Трех разговорах» известное стихотворение А. К. Толстого «Великодушные смягчают сердца» — настоящее «скоморошье действо» на тему непротивления злу насилем. Комический смысл событий усиливался

439

полным абсурдом происходящего и совершенной серьезностью повествования. «Нечестивый убийца» вонзил кинжал в грудь некоего Деларю. А Деларю, «сняв шляпу», сказал ему учтиво: «Благодарю». Это было началом необыкновенных событий. «Тут в левый бок ему кинжал ужасный злодей вогнал». А Деларю сказал в ответ: «Какой прекрасный у вас кинжал». На всякий новый выпад своего врага Деларю отвечал новой любезностью, демонстрируя неисчерпаемые возможности непротивления. Но когда он к тому же еще и пригласил злодея на чашку чая, тот не выдержал: «Злодей пал ниц и, слез проливши много, дрожал, как лист». А Деларю сказал ему: «Ах, встаньте, ради бога! Здесь пол нечист».

В скоморошье сцене Соловьев открывает (или привносит в нее) философскую премудрость. Он говорит об опасности доброго деяния, которое может пробудить в злодее страшные силы разрушения. «Когда Деларю входит в житейское положение своего злодея, готов поделиться с ним своим состоянием, устроить его служебные дела и даже его семейное благополучие, — тогда эта действительная доброта, проникая в глубокие моральные слои злодея, обнаруживает его внутреннюю нравственную негодность и, достигая, наконец, до dna его души, будит там крокодила зависти». Чему завидует злодей? Он завидует вовсе не доброте Деларю, а непостижимой для него «бездонности и серьезности его работы».

Тут слышится характерный, пронзительный хохот Соловьева, который иногда пугал не только его слушателей, но и его самого. «Какое-то ерничество, — говорил В. В. Розанов об этой стороне таланта Вл. Соловьева. — ...Везде он был очень талантливый, но ерник...» [24, с. 95].

Для Соловьева была характерна известная степень религиозного вольнодумства. И над ним, так же как над Толстым, правда, по другим причинам и поводам, витала тень церковного осуждения. Он не дождался «отлучения» Толстого, но в одном из своих стихотворений как бы случайно обмолвился прозорливым словом: «вещать анафемы легко...». Толстой надеялся найти общий язык с Соловьевым и «вместе работать», как он говорил об этом в письме к философу в конце 1894 г. Но всякий раз, как только речь заходила о Толстом, Соловьев сбивался на сатиру. И Толстой стал одним из иронических героев его шуточных стихотворений.

440

Соловьеву казалось смешным занятие Толстого сапожным ремеслом. И он повествовал о шитье сапог величественным гекзаметром:

Некогда некто изрек: «Сапоги суть выше Шекспира». Дабы по слову тому превзойти британца, сапожным Лев Толстой мастерством занялся и цели достигнул...

Прочитав статью «Первая ступень», где говорилось о неубийстве никакого живого существа на земле, Соловьев написал ироническую балладу о том, как он морил клопов в деревне «галльский скипидаром». Баллада была известна Толстому. Переписанная чьей-то старательной рукой, она до сих пор хранится в архиве писателя.

Вл. Соловьеву так и не удалось рассмешить Толстого, который порой считал своего критика «легкомысленным». «Я как-то исключительно осторожен с ним» [1, т. 50, с. 54], — говорил Толстой о Владимире Соловьеве.

«Древо жизни»

В 1900 г. Лев Шестов издал книгу под названием «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше», в которой получили оригинальное развитие и продолжение некоторые общие положения, касающиеся нравственной философии Толстого. Шестов исходит из того, что ее основой является добро. «Он как будто бы надеется лаской и добрыми словами повести за собой людей». Главная задача его философии как раз и заключается в том, чтобы дать людям почувствовать «приятство добра», все изменение его философии никогда не выходило за пределы «жизни в добре» [25].

Толстой стремился «служить добру», и такое служение было для него не «бременем», а именно «облегчением от бремени». Добро, таким образом, становится его личной целью и потребностью, условием нравственного совершенствования и удаления от зла. «И сверх того, это дает ему, помимо мнимых обязанностей, еще право требовать от других людей, чтобы они делали то, что он делает, чтобы они жили так, как он живет». Однако неожиданным следствием такого умонастроения была нетерпимость и склонность к осуждению. «Оттого-то в гр. Толстом всег-

441

да замечалась такая чисто сектантская нетерпимость в отношении к чужим мнениям и к отличному от его собственного образу жизни». Задача, которую ставил перед собой Лев Шестов, как раз и состояла в том, чтобы показать внутреннюю противоречивость понятия добра в философии Толстого и в его художественных произведениях.

В романе «Война и мир» Толстой изображает Соню, добродетельную, любящую, искренне преданную семье Ростовых. И вот что удивительно: для Сони у Толстого в эпилоге не нашлось таких слов, которые бы показали «приятство добра». Напротив, Толстой ее самоотверженность, отказ от личного счастья, отказ от осужденного и осуждаемого им эгоизма считает чуть ли не ее непростительной виной перед жизнью. Шестов приводит небольшую сцену из «Войны и мира»: «Знаешь что, – сказала Наташа, – вот ты много читала Евангелие: там есть одно место прямо о Соне.

– Что? – с удивлением спросила графиня Марья.

“Имущему дается, а у неимущего отнимается”, – помнишь? Она неимущий: за что? не знаю; в ней нет, может быть, эгоизма – я не знаю: но у ней отнимется, и все отнялось» [1, т. 12, с. 259].

Каким странным путем идет мысль Наташи Ростовской. Как будто она выходит из повиновения у автора и дерзко произносит речи, которых он, строгий проповедник добра, не мог бы одобрить. Но он не «перебивает» Наташу и дает ей возможность высказаться до конца. Это не только мнение Наташи, но и мнение княжны Марьи, которая хотя и иначе толковала Евангелие, но все же, «глядя на Соню», «соглашалась с Наташей». И «всякому ясно, что это мнение двух счастливых, но не выдержавших испытания добродетели женщин, есть и мнение самого автора», – добавляет Шестов.

О чем все это свидетельствует? О том, что добро, как все философские категории, поддается опрощению и упрощению, но при этом многое теряет из своей содержательности.

Толстой неизменно был «по сю сторону добра». Да, он надеялся лаской и добрыми словами повести за собой людей. «Но люди, конечно, не пошли за ним, – пишет Лев Шестов о Толстом, – и по мере того как уходило время и “это будет скоро” затягивалось, счастливые времена не наступали, пророчество не сбывалось, раздражение гр. Толстого все росло».

В сущности, Шестов стремился понять трагический смысл последних лет Толстого, когда он пришел к выводу, что «доб-

ро недействительно». Все это было своего рода предсказанием того приступа отчаяния, которое охватило Толстого в 1910 г., когда он вдруг покинул Ясную Поляну. Шестов увидел, как за спиной Толстого открывается занавес шекспировской трагедии. Толстой пережил опыт потрясения. А «опыт потрясения», как доказывает Л. Шестов, «выводит человека из царства обыденности» в «царство трагедии». Шекспир воссоздал все мучения и испытания, которые уготованы для того, кто, как Макбет, идет путем зла и не сворачивает с этого пути, пока не двинется бирнамский лес. Но и тот, кто решится идти путем добра, испытает многие мучения, пока не увидит перед собой Голгофу.

Лев Шестов недаром упомянул в названии своей книги имя Ницше. «Он хочет стать по ту сторону добра и зла» [26, с. 236], – отмечает Н. А. Бердяев самую характерную черту мирозерцания Шестова, определившую его полемику с Толстым. Чтобы понять эту критику, надо иметь в виду, что, по Л. Шестову, «самое возникновение добра и зла, самое их различие есть грехопадение...». «Шестов противопоставляет древу познания добра и зла древо жизни», как отмечает Н. А. Бердяев. Критика Льва Шестова захватывает многие глубинные проблемы творчества. Но нельзя не согласиться с Н. А. Бердяевым, который отмечает, что Л. Шестов, «когда он писал о Ницше, Достоевском, Л. Толстом, Паскале, Кирхегардте... интересовался не столько ими, сколько своей единственной темой» – «судьбой личности, единичной, неповторимой, единственной». Такой неповторимой и единственной была для него судьба Толстого как человека и писателя.

Движение и покой

Дискуссия о Толстом в связи с его отлучением от церкви постановлением Синода от 22 – 24 февраля 1901 г. не вышла на страницы печати ввиду строгих цензурных мер. Но она нашла для себя другое поле, может быть, наиболее удобное в тех условиях, для открытого обсуждения самой проблемы Толстого, хотя и в узком кругу «философского общества». В 1902 г. в Петербурге начались «Религиозно-философские собрания», которые стали основой возникшего несколько позднее «Религиозно-философского общества». Именно здесь и прозвучал краткий, как «депеша», и удивительный по своей прямоте и смелости доклад В. В. Розанова «Об отлучении гр. Л. Толстого от церкви».

Высказывая свое несогласие с актом Синода, Розанов не питал никаких враждебных чувств по отношению к Победоносцеву. Напротив, он называл его человеком «обширного образования» и «сильного религиозного настроения», видел в нем не только «защитника государства от церкви», но и «руководителя церкви» [27]. Но существо дела состояло не в личных достоинствах или недостатках Победоносцева, а в том, что при его участии возникла та опасная путаница, при которой определенная и ортодоксальная система прилагалась к тому, что по самому существу своему не является системой. «Синод и Толстой, – пишет Розанов, – суть явления разных порядков. Нельзя алгебре опровергать стихами Пушкина, а стихи Пушкина нельзя критиковать алгебраически». Это был самый главный и самый важный аргумент, который должен был служить не противопоставлению, а разделению сторон. У Розанова был исторический взгляд на Синод. Он считал, что это есть «строгое, точное, так сказать, алгебраическое учреждение», которое может быть «праведным и даже святым», но у которого нет традиций для суждения о таких явлениях, как творчество Толстого. Поэтому Синод логически пришел к выводу, что у великого писателя нет строгой «алгебраичности» в его суждениях. «Между тем, – пишет Розанов, – Толстой, при полной нелогичности ужасных и преступных его заблуждений, ошибок и дерзких слов, есть огромное религиозное явление, может быть – величайший феномен религиозной русской истории за 19 веков, хотя и искаженный». Рассуждая исторически, Розанов пришел к выводу о том, что Синод не мог найти верного отношения к Толстому. «Синод явно не умеет подойти к данной теме, долго остерегался подойти, и сделал, может быть, роковой для русского сознания шаг, – подойдя».

Последствия оказались ошеломительными. «Акт этот, – пишет Розанов о постановлении Синода, – потряс веру русскую более, чем учение Толстого». В писаниях Толстого, в его богословских сочинениях Розанова привлекали «страдания и трепет». Он чувствовал, что здесь скрыты «тоска, мучение, годы размышлений». Толстой был временами похож на Иова, а временами был «как бес перед Иисусом», но всюду у него чувствуется «буря», смятение, страстное искание истины. Что касается постановления Синода, то в нем Розанова поражал холод, бестрепетность слова и мысли: «ни мучений, ни слез, ничего; только способность написать бумагу». Поэтому постановление Синода

напоминало ему по своему тону и складу «решение византийского или римского юрисконсульта» – «до такой степени в характере и методе, и тоне его не отражается ничего христианского». Как будто эта бумага написана еще до рождения Христа.

Розанов нельзя было отнести к числу сторонников или «поклонников Толстого». Но его суждение относительно постановления Синода было негативным. «Бумага Синода о Толстом? – пишет Розанов. – Вот уж молния, которая не жжет и не поражает». «Я понял бы суд церкви, высказанный о Толстом, если бы разъяренная улица, оскорбленная его учением и тезисами, разорвала его портрет, запретила произносить его имя, выгнала бы его из пределов земли своей...» Как характерно это рассуждение для Розанова, который умел (и любил!) доводить свою мысль «до геркулесовых столбов» отрицания или утверждения. Но ничего этого не было. Не было разъяренной толпы гонителей, как не было и смятенной толпы последователей отверженного пророка. Была тишина, которая и смущала Розанова.

Он нарочно справлялся у Софьи Андреевны, какое впечатление произвело на самого Толстого отлучение от церкви. Оказалось, что оно было воспринято в Хамовниках равнодушно. Толстой в тот день, как обычно, выходил на прогулку, когда принесли газеты. Их складывали обычно в прихожей. Эта сцена в прихожей казалась Розанову особенно замечательной. «Толстой, разорвав бандероль, – рассказывает Софья Андреевна, – в первой же газете прочел о постановлении Синода, отлучившем его от Церкви. Надел, прочитав, шапку – и пошел на прогулку. Впечатления никакого не было...» [28]. Вот что представлялось Розанову самым странным и непредвиденным результатом «отлучения», которое оказалось не ко времени принятым и не ко времени обнародованным. Так что пришлось даже воспрепятствовать его обсуждению в печати.

Розанов сохранял острый интерес к теме «Толстой и церковь» и в последующие годы. Он даже написал небольшую, но очень емкую книгу «Л. Н. Толстой и русская церковь», которая была напечатана в России лишь в 1912 г. Эта книга начинается истолкованием той странной тишины и того равнодушия, которыми сопровождалось отлучение Толстого от церкви. «Потом, может быть, – было впечатление», но «как последующая волна...» – пишет Розанов. Но в начале именно не было «никакого впечатления».

Толстой и церковь «не понимали друг друга, даже не знали». «И – разошлись». Разошлись «до проклятия с одной стороны (отлучение Толстого от Церкви, с его впечатлением в обществе), до полного пренебрежения – с другой (отношение Толстого к церкви)». Причина взаимного непонимания состоит, по мнению Розанова, в том, что Синод судил о Толстом, как если бы он был богословом, за вычетом художественной значительности его труда, отыскивая отклонения от ортодоксальной доктрины православия в его религиозных сочинениях. Таких отклонений было много; найти их не стоило большого труда. «Духовенство наше, – пишет Розанов, – страшно невоспитанно художественно, поэтически, литературно». Если говорить об истории, то кажется, один только Филарет Московский мог вступить в диалог с Пушкиным и даже одержать над ним победу: «И внемлет арфе серафима в священном ужасе поэт». Толстой не почувствовал, да и не мог почувствовать этого «священного ужаса», без которого нет и не может быть настоящего обличения и поучения. «Большинство же духовенства, – пишет Розанов, обращаясь к эпохе Толстого, – и высшего и низшего, не читало – иначе как случайно и в отрывках – даже “Войну и мир”, и совершенно не имеет понятия о других превосходных и небольших произведениях Толстого». Под «небольшими произведениями» он подразумевал притчи Толстого, такие, например, как «Три старца» и др.

Все это так. Но ведь и Толстой, со своей стороны, «совершенно не понял церкви». Он увидел темноту и корыстолюбие отдельных служителей церкви, увидел и многое другое, что Розанов называет «мелкой правдой». Нельзя сказать, что Толстой был не прав в критике церкви, но он был «мелочлив прав». Толстой не почувствовал, «просмотрел великую задачу, над которой трудилось духовенство и Церковь девятьсот лет». И здесь собственная ошибка Толстого по отношению к святости далеко превосходит ошибку церкви по отношению к его художественности.

Розанов писал свою статью как философскую притчу о взаимном непонимании, пользуясь для простоты доказательств крыловскими басенными примерами: «Толстой был очень похож, в своих богословских трудах, на медведя, – который, – желая согнать муху с лица заснувшего друга-человека, – поднял бы против этой мухи камень, который может убить самого человека». Все, что Розанов писал об отношении церкви к Толстому и об отношении Толстого к церкви, было попыткой философ-

446

ского комментария к постановлению Синода. Что же касается непосредственно религиозного опыта Толстого, то Розанов о нем говорил коротко и многозначительно: «Он знал Евангелия – да». Если взять в целом все то, что Розанов сказал о Толстом, то надо признать, что его статьи были первой попыткой освободить Толстого из-под гнета того безоговорочного осуждения, которое было на него наложено постановлением Синода.

Он не оставил без внимания и вторую сторону единой толстовской проблемы, которая вышла на первый план в связи с отлучением Толстого, а именно – толстовство. Посвятил этой теме особую статью под названием «Где же “покой” Толстому?» [29]. Тут речь шла о толстовстве как некоей (хотя и неопределенной) доктрине, которая уже в силу своей «доктринарности» должна была отталкивать Толстого. Между тем «Миссионерское обозрение», преследуя «толстовство», было уверено, что ведет борьбу против самого Толстого.

«Миссионерское обозрение» говорило даже о «тяжбе толстовства с православием» и об участии самого Толстого в этой взаимной вражде: «Лев Ник. не дремлет и сам подливает масла в огонь» [30]. Редактором «Миссионерского обозрения» был В. М. Скворцов, близкий Победоносцеву деятель Синода, исполнявший его особые поручения. В одной из своих статей Розанов характеризует Скворцова как строгого и упорного гонителя всего, что получило название «ереси». Розанов на историческом суде по делу Толстого берет на себя роль не адвоката, не судьи, а свидетеля, полагая, что не все данные опыта к действительности рассмотрены и поняты надлежащим образом. Обвинение было построено на идее окончательности итога, на объявленной точке покоя, на признании того, что Толстой «остановился», достигнув берега «толстовства». Именно с этим и не соглашался Розанов, доказывая, что «Л. Н. Толстому все-таки нет покоя».

Для Розанова Толстой был движущимся явлением, человеком, который был переполнен динамикой вечного движения, развивающегося личного и исторического опыта. «А море, – говорил Розанов, – всегда больше пловца».

Розанова интересовала та историческая минута, когда в комнату Толстого вошел В. Г. Чертков. Он готов был даже сопоставить верного друга Толстого с духовником Гоголя отцом Матвеем Ржевским. И тот, и другой требовали останова, покоя. Гоголь «живейше радовался» свиданиям с отцом Матвеем. Но этот ду-

447

ховник все больше и больше отгораживал его от жизни, от мира, «сводил его с ума» своей заботливостью и своей требовательностью. Нечто подобное происходило и в жизни Толстого. Он тоже «душевно радовался» встречам с Чертковым. Находил в его обществе «покой» и умиротворение. Но он не мог не видеть, что в нескольких саженьях от него «под его окнами и проч. с величайшим возбуждением бродит толпа семьи, родных и почитателей».

Статья Розанова была написана саркастично. Он как писатель и публицист вообще не отличался любезностью. И уж если он спорил (и притом достаточно резко) с Победоносцевым и со Скворцовым, если он спорил и с самим Толстым, то ему теперь уж нельзя было отступать и в споре с Чертковым. И Розанов доказывал, что Чертков «буквально задушил Толстого мыслями Толстого же». Чертков не хотел и не мог допустить, чтобы Толстой шел тем же путем, каким он шел до сих пор. Он не хотел, чтобы Толстой изменялся. Никаких перемен! – вот был девиз Черткова. Но перемены были в характере и натуре Толстого. «То землевладелец, то учитель, то семьянин, то аскет – он велик как “сумма всего этого”, велик и счастлив и здоров». <...> Розанов трактовал роль Черткова рядом с Толстым как роль деспотичного «духовника». Вокруг Толстого, препятствуя его движению, постепенно возникло «то же давление, то же сужение горизонта, та же толчея в небольшом круге формул тезисов...»

На протяжении ряда лет Розанов выводил и вывел двудеиную формулу взаимного непонимания Толстого и церкви. Тема эта была захватывающе важной для религиозно-философских собраний, где впервые возникла мысль «освобождения Толстого». Но его труды не встретили понимания. В. В. Розанов с огорчением признавался в безрезультатности «собраний»: «Собирались три года и даже “Господи, помилуй!” с места не сдвинули. Наговорили понам много дерзостей. Положим, по заслугам. Были кое-какие мыслишки. Но никто ничего не понял» [24, с. 110].

«Аким и Ерощка»

Постановление Синода застало Д. С. Мережковского в разгар его работы над книгой «Толстой и Достоевский». Книга по главам печаталась в журнале С. П. Дягилева «Мир искусства». В первом томе, имеющем подзаголовок «Жизнь и творчество», были напечатаны первые две части, второй том книги Ме-

режковского – «Религия Л. Толстого и Достоевского» – стал своеобразным ответом на него и по объему далеко превосходит первый.

Толстой и Достоевский, по мысли Мережковского, были «близки и противоположны друг другу, как две главные, самые могучие ветви одного дерева, расходящиеся в противоположные стороны своими вершинами, сростившиеся в одном стволе своими основаниями. Углубляясь и в Льва Толстого, и в Достоевского, мы доходим до их общего основания – до Пушкина» [31]. Критик называл их «двумя демонами русского Возрождения»: «тайновидец плоти – Л. Толстой, тайновидец духа – Достоевский, один стремящийся к одухотворению плоти, другой к воплощению духа». С Толстым и Достоевским у Мережковского была связана надежда на возможность соединения красоты (Аполлон) и доброты (Христос) в культуре русского Возрождения: «Именно в том, что их двое, что они вместе (хотя они сами еще не сознают, что они вместе и что не могут быть один без другого), заключается наша последняя и величайшая надежда».

В первых книгах своего обширного труда Мережковский, выступая в роли исследователя поэтики Толстого, собрал чрезвычайно ценный (и несколько не устаревший со временем) материал. Многие его наблюдения над пластической силой и красотой толстовских описаний относятся к лучшим страницам русской критической литературы начала XX в. Своим мыслям и наблюдениям он зачастую придавал парадоксальную «заостренную» форму. Так, например, Мережковский противопоставляет «красноречие» толстовских описаний «безмолвию» его героев. «В произведениях Толстого художественный центр тяжести, сила изображения – не в драматической, а в повествовательной части, не в диалогах действующих лиц, не в том, что они говорят, а лишь в том, что о них говорится. Речи их суетны или бессмысленны – зато их молчания бездонно глубоки и мудры». Мережковский приводит слова Толстого о Фру-Фру, лошади Вронского: «Она была одно из тех животных, которые, кажется, не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого». И со своей стороны добавляет: «Можно сказать о некоторых действующих лицах Л. Толстого, например, о Вронском и Николае Ростове, что они говорят только потому, что механическое устройство их рта им это позволяет».

448

449

Мережковский оригинально и точно определял различие стиля Толстого и Достоевского, говоря, что «у Л. Толстого мы слышим, потому что видим; у Достоевского мы видим, потому что слышим». В этом он и находил различие между эпосом (Толстой) и трагедией (Достоевский) – мысль, которая многократно повторялась и оказалась очень плодотворной для изучения поэтики русского романа XIX в.

Однако все эти идеи вызревали в тиши кабинета, не имея непосредственных связей со «злойбой дня». Перемена произошла в тот день и час, когда автор прочитал постановление Синода: «Сама жизнь пришла мне на помощь тогда именно, когда я этого всего менее ожидал, и там, где, может быть, и в то время, я всего этого менее желал» [32]. Второй том возник как бы «поневоле», но из самой глубины общего замысла.

В своем «Ответе на Постановление Синода» Толстой отметил, что не молчит только уличная толпа, которая выкрикивает проклятия, когда он проходит мимо церкви: «Анафема ты, старый черт...» [1, т. 34, с. 246]. Теперь нужно было или согласиться с «толпой», или воспротивиться ей, надо было нарушить молчание. В этом, по мнению Мережковского, должна быть заинтересована прежде всего сама церковь, потому что в общественном мнении сложилось неверное представление о смысле ее постановления. «И как могли подумать образованные русские люди, – пишет Мережковский, – будто бы церковь произнесла над ним “анафему” и будто бы не уличная сволочь, о которой и думать и не стоит, а весь русский народ говорит Л. Толстому вместе с церковью: «Анафема...». Говоря об отношении церковников к Толстому, Мережковский замечает: «Они за него молятся».

Символом и воплощением толстовского «богоскательства» Мережковский считал Акима из народной драмы «Власть тьмы». Его косноязычное «тае-тае» должно было указать на неизреченные глубины потревоженной совести. Аким представляется Толстому громадным и новым явлением русской жизни. Что касается Мережковского, то он считал «старца Акима» «маленьким мыслителем» и «лжехристианином». «Аким, несмотря на явную близость к Толстому, вовсе не является его “двойником”». Напротив – это самозванец и оборотень, принимающий облик Толстого, но лишенный его дара и провидения. Аким у Толстого не только не церковный человек, но как бы и не ведающий о церковности. Он рационалист и отрицатель всего, кро-

450

ме совести, своим умом дошедший до идеала «неделания» как нравственной цели и удаления от зла.

«Что обманчивый “двойник”, призрачный “оборотень”, “самозванец” Л. Толстого, не столько даже “мыслящий”, сколько “умствующий” старец, отпал от Христа и в своем бесплотном и бездушном, все отрицающем “христианстве” дошел до совершенного безбожья, буддийского нигилизма, – в этом, повторяю, – пишет Мережковский, – сомнения не может быть». Оказалось, что не только Аким «подражал» Толстому, тому Толстому, который в своем искании Бога был часто также косноязычен, как его герой, но Толстой порою становился подражателем Акима.

В некоторых его теоретических работах, написанных странно, многословно и даже как-то косноязычно, Мережковскому слышалось знакомое «тае-тае». Такова, например, его «Критика догматического богословия» – обширный трактат, в котором трудно, почти невозможно узнать руку Толстого. Это сочинение, как отмечает Мережковский, «до такой степени слабо, что иногда просто не верится, что оно принадлежит перу великого писателя». Церковная цензура, как утверждал Мережковский, делает большую ошибку, запрещая эти произведения Толстого. Запрет придавал им притягательную силу: «Если бы религиозные сочинения Л. Толстого, изданные за границей, напечатаны были и в России, то сразу и воочию перед всеми обнаружилась бы их крайняя богословская и метафизическая несостоятельность».

И вот почему Толстой, по словам Мережковского, «никогда, собственно, не был нашим духовным вождем – в полном смысле этого слова – “учителем”». Происходило это потому, что Толстой всегда искал «уяснить личное воззрение». И мог оказывать воздействие и влияние на современников лично. Как старец Аким мог оказывать личное влияние на Никиту, подталкивая его к покаению. Толстой не мог стать общим учителем потому, что ему мешало именно это «тае-тае», которое так удивило всех в речи Акима.

Мережковский указывает на коренное различие таких художественных типов, как Брошка и Аким в философском мире Толстого. «Всею книгой моей, – пишет он, – я старался показать, что в Л. Толстом живут и всегда жили два не только отдельные, но иногда и совершенно друг другу противоположные, враждебные существа, два поочередно сменяющихся характера». Как бы

451

два человека: маленький мыслитель – лжехристианин «старец Аким» и великий подлинный «язычник Ерощка».

Путь, которым идет Аким и на который и сам Толстой вступает по временам не только в своих теоретических, но и в художественных произведениях, не ведет к той цели, которую он преследует. «Это ему не дано», – говорит Мережковский о Толстом и его отношении к церковности и теологической христианской метафизике. Нет ничего удивительного в том, что «Воскресение», например, не подходит под рамки ортодоксальной церковности. Когда Толстой говорит о христианстве, чувствует, что он говорит совсем «не о том», – все равно, верно или неверно. Итак, ни Аким, ни Толстой не подходят под строгие рамки церковной доктрины. Это и вызвало целую бурю в Синоде. Причины для такого негодования у Победоносцева, конечно, были. Но ведь под строгие рамки церковной доктрины не подходит и Ерощка, если говорить, например, о «Казаках».

Но это почему-то не вызывает таких волнений, как неортодоксальность Акима. Ни Победоносцев, и никто другой и не думал отлучать Толстого от церкви за то, что он написал «Казаков», хотя вещь эта очень далека от церковного благочестия. Ерощка – язычник, а не христианин. Это чувствуется в каждом его слове, в каждом его поступке. И суть дела, по мнению Мережковского, состоит в том, что Толстой был таким же великим и, главное, не рассуждающим язычником, каким был его герой. «Язычество истинного Л. Толстого, – пишет Мережковский, – есть нечто первородное, никакими водами крещения не смываемое, не растворимое, потому что слишком стихийное, бессознательное». Ерощка никогда не рассуждал о вере, потому что его вера была не рассуждающая и бессознательная. В те годы, когда Толстой писал «Казаков», он никак не мог «отпасть» от церкви. «Истинный Л. Толстой, великий язычник, дядя Ерощка не отпадал, да и не мог отпасть от христианства, уже по той простой причине, что он и не был никогда христианином». Вот главная мысль Мережковского. Он видит в художественном творчестве Толстого два начала – языческое (Ерощка) и аскетическое (Аким). Но диалектику личности Толстого он склонен искать не в торжестве одного из этих начал, а именно в их «синтезе».

«Можно многое знать бессознательно», – говорил Достоевский. Мережковский считал, что это изречение многое объясняет в художественном и интеллектуальном мире Толстого. «Вот кто

452

бесконечно многое “знает бессознательно!” – восклицает Мережковский, размышляя о Толстом.

Толстой был поглощен богоскательством, когда этого слова еще и не было в русском философском языке. «Не то, чтобы он не хотел христианства, – пишет Мережковский, – напротив, он только и делал всю жизнь, что обращался в христианство». Но это ему как-то не удавалось. Наконец, на склоне лет он почти что достиг своей цели, написав «Воскресение». И что же? Последовало постановление Синода об отлучении его от церкви. И тут возникает вопрос («проблема Толстого»): «Исчерпывает ли религиозная мысль сознание Толстого, всю глубину его подлинного религиозного существа?» Мережковский считал, что оно гораздо значительнее и шире, чем его рациональная мысль. Для того чтоб убедиться в этом, достаточно сравнить Акима и Ерощку, не забывая о том, что и тот, и другой в равной мере связаны с его религиозным мышлением. <...>

Толстой вместе с Ерощкой знают бессознательно многое такое, чего Толстому с Акимом никак не понять и не высказать. Мешает «тае-тае». Этого совершенно не учитывает церковная критика. «Нельзя требовать от русской церкви художественной критики...», – замечает Мережковский. Однако «утверждать, что будто бы Л. Толстой... не верит в “живого Бога”, было бы слепой и вопиющей несправедливостью». Эту несправедливость Мережковский и стремится снять в своем исследовании. «Не только он верит в Бога, но даже верит в него так, как немногие из пребывающих в христианстве. Ему ли не верить в Бога, когда “всю жизнь Бог мучил” его, “только это одно и мучило”».

Но для того чтобы быть причастным к миру христианства, необязательно оставаться до полного изнеможения мысли и до полной немoty на стороне Акима. Путь к истине не закрыт и для Ерощки, с его бессознательным знанием, премудрым уклонением от споров о вере и знании. «Надо же понять раз и навсегда: язычество, по крайней мере, на своих последних, высших пределах, например в эллинизме (Софокл, Сократ, Платон), не есть нечто навеки противоположное христианству, – пишет Мережковский, – а лишь дохристианское и вместе с тем неизбежно ведущее к христианству». Такое сложное и глубокое понимание религиозной жизни человечества запечатлено в духовной архитектуре и живописи древних церквей. «Наши старинные московские иконописцы в церквах, рядом со святыми, изображали

453

Гомера, Гезиода, Еврипида, Платона и прочих, “их же в неверии касашася благодать Духа Святого” – сказано в Иконописном Подлиннике». Этим определяется общий смысл параллельной характеристики Толстого и Достоевского в книге Мережковского: «Язычество Л. Толстого оправдывается христианством Достоевского».

Мережковский одним из первых обратился к изучению религиозной проблематики в сочинениях Толстого и Достоевского. Именно в этом Н. А. Бердяев видел главное достоинство книги «Религия Л. Толстого и Достоевского», несмотря на характерные для нее «риторику и идеологический схематизм». Главным недостатком концепции Мережковского Бердяев считал «двоящиеся мысли». «У Мережковского, – пишет он, – отсутствует нравственное чувство, которое так сильно было у писателей и мыслителей XIX века. Он стремится к синтезу христианства и язычества и ошибочно отождествляет его с синтезом духа и плоти» [26, с. 225]. «Иногда остается впечатление, что он хочет синтезировать Христа и антихриста», – добавляет Бердяев. Этим объясняется настороженное отношение Толстого к Мережковскому. В мае 1904 г., после встречи с Мережковским в Ясной Поляне, Толстой признался в одном из своих писем, что эта встреча оставила в нем чувство отчуждения: «Хочу любить и не могу...» [1, т. 75, с. 104].

«Единое на потребу»

Розанов был публицистом, и его статьи о Толстом наполнены злободневными вопросами. В обширных монографиях Мережковского преобладает философская обобщенность идей и понятий, хотя связь с насущными проблемами текущей литературной и общественной жизни и здесь прослеживается достаточно ясно. Что касается статьи С. Н. Булгакова, то они отличаются большой сдержанностью, академичностью. Это придает им некоторую отстраненность от злобы дня, некоторую отвлеченность, которая была следствием его ухода от социальной проблематики – «к идеализму».

В 1910 г., при известии о смерти Толстого, Булгаков написал первую из своих статей о великом писателе. Его поразили прежде всего эти «бескrestные похороны» в яснополянском лесу, вне церковной ограды, вдали от церкви в Кочаках. Как будто

454

все отступились от Толстого и оставили его наедине с природой. «И было особенно острое, до жути ясное чувство, насколько могуча была в нем природная и народная стихия, насколько слитно жил он с этими крестьянами, с этими полями и лесами» [33].

Толстой после смерти вернулся в те самые леса и поля, где живы и полны значения уже забытые всеми первобытные языческие мифы и символы. «В нем жива первобытная душа русской природы и русского народа, – пишет Булгаков, – такая, какою она была и в отдаленную дохристианскую эпоху, когда славяне «умыкиваху у воды жен», приносили жертвы Перуну, Велесу и Стрибогу, зажигали Ярилыны костры». Не антихристианские, а именно дохристианские начала, по мнению Булгакова, объясняют творчество Толстого и его судьбу. «Да, – пишет Булгаков, – Лев Толстой – это сама наша первобытная стихия, с ее раскрытыми и нераскрытыми задатками, со всем ее хаосом и мощью. Она получает несравненное выражение в его художественном творчестве, но лишь потому, что жила в нем самом». Художественный мир Толстого огромен и в эстетическом отношении прекрасен. «Если бы он остался только художником, и тогда он принадлежал бы к величайшим писателям всех времен и народов», – пишет Булгаков.

Булгаков считал, что «религиозная проповедь» Толстого «находится в явном антагонизме с его художественным творчеством». Толстой стремился приблизиться к той высоте, которую занимали Гоголь и Достоевский. Он, постигший стихийные, языческие начала жизни, хотел постигнуть и ее «закон» – христианскую основу существования. Толстой хорошо помнил сказанное: «О многом печешься», но хотел узнать, что это значит – «единое на потребу». И даже пожелал подчинить свое творчество сверхэстетическим, именно религиозным целям. «И здесь, – пишет Булгаков, – обнаружилась в нем уже христианская стихия русской души, искание “единого на потребу”, жажда вечности и Бога». Но общий взгляд на художественное творчество с точки зрения религии всегда так или иначе отзывается сомнением в его ценности. Не случайно поэтому и Толстой «над всей современной культурой ставит гигантский вопросительный знак». В этом была своя логика, была даже своя трагедия, восходящая чуть ли не к Платону.

Не следует абсолютизировать толстовское «отрицание культуры». Никакого отрицания культуры, собственно говоря, у

455

Толстого нет. Есть другое: постановка вопроса «о ценности культуры перед лицом религии и о религиозном смысле культуры». Булгаков пишет: «Толстой никогда не был и не мог быть только толстовцем». И тот вопрос: «Что такое искусство?», которым он завершал свои эстетические размышления, имел совсем другое значение. Булгаков почувствовал остроту вопроса о «личном знании» в творчестве Толстого. «Наибольшую религиозную непререкаемость имеет другой мотив учения Л. Н. Толстого, – его обращение к личной совести и личной ответственности каждого». Здесь он сказал много правды. А «правда часто бывает мучительна».

Булгаков издал подходил к проблеме Толстого, которая в начале века была связана с постановлением Синода об отлучении великого писателя от церкви. Он высказывал некоторые идеи, отличающиеся от того, что говорили по этому поводу Розанов и Мережковский.

Прежде всего Булгаков доказывал, что Толстому так и осталась «недоступной как мистической, так и метафизическая сторона христианства, которую он понимает преимущественно как религиозно-окрашенную этику»¹. В 1911 г. Булгаков напечатал в журнале «Русская мысль» (№ 1) статью под названием «Толстой и церковь», специально посвященную этой проблеме. «В своем вероучении, – писал он, – Толстой, несомненно, отпал от Церкви (притом одинаково и от православия, и от католичества, и даже от ортодоксального протестантизма)» [35]. «Отпадение» было настолько явным, что торжественное отлучение не понадобилось. Не только в «Воскресении», но и в трактате «Царство Божие внутри вас» есть страницы, которые оскорбляли чувства верующих и не без основания считались кощунственными.

Эти его поздние сочинения резко отличаются от ранних. «По крайней мере, автор “Севастопольской обороны” и “Войны и мира”, – отмечает Булгаков, – умеет рассказать о православии нечто совсем иное, нежели автор “Царства Божия”». «Бессознательное» и в отношении к православию было плодотворным у Толстого. Когда он стал выводить свою религиозную систему сознательно и разумно, дар пророчества как будто покинул его. «В этой

абстрактности и рационалистичности религии Толстого, – пишет Булгаков, – не лежит ли разгадка и того, что она так плохо мирилась в нем с его искусством, которое было мистически богаче и красочнее, нежели эта дистиллированная религия?»

Толстовство лишь усилило, усугубило рационалистичность «веры» Толстого. «Церковное учение и “толстовство” (как и многие другие разновидности крайнего рационализма), действительно, между собою непримиримы, – пишет Булгаков, – между ними возможна только борьба, и никаких компромиссов». Никакого компромисса и не было в постановлении Синода. Не было никакого компромисса и в ответе Толстого на определение Синода. Победоносцев так же решительно отрицал Толстого, как Скворцов отрицал толстовцев. Булгаков ничуть не сомневался в их праве поступать именно так, а не иначе. Но свою цель он видел вовсе не в том, чтобы «подтвердить» постановление Синода или позицию «Миссионерского обозрения». Цель его была другая, и определялась она попыткой высободить самую проблему Толстого от предвзятого к ней отношения.

Мережковский, желая примирить враждующие стороны, указывал на изображения великих языческих мыслителей, возвышающихся до свободного и чистого «предощущения Божества» в пределах христианских храмов. Таковы, например, изображения Гомера, Эсхила или Еврипида в православных соборах. Булгаков, со своей стороны, указывал на Сократа, Платона, Аристотеля и Птоломея, которые тоже получали приют в православных храмах. Сам по себе поразительный факт как будто мог указать на способ решения проблемы Толстого в современной философской критике и в общественном мнении. «Там, где есть место Сократу, Платону, Аристотелю, Птоломею, Омиру, не окажется ли места и Толстому, не в самом храме, но при входе в храм, к которому он приблизил некоторых своим общерелигиозным верованием». Если следовать за Мережковским, то такое место для Толстого, пожалуй, можно найти в каком-нибудь притворе Оптиной пустыни, например. Но, замечает Булгаков, «грустно приравнивать наше просвещенное общество к языческому». Ведь по Толстому будут судить и о его времени. Попытку найти синтез язычества и христианства и на этом основать некое новое «возрождение» Булгаков считал «грустным» заблуждением Мережковского. Булгаков несколько не сочувствовал идеям Мережковского,

¹ Ср.: «Учение Толстого не есть религиозная антология... Учение Толстого не есть, собственно, даже религия. Это “религия”, сведенная почти целиком к этике» [34].

прежде всего потому, что в нем самом «была глубоко заложена православная основа».

Но это не значит, что он целиком принимал постановление Синода. Бердяев, определяя позицию Булгакова, пишет: «Он горячий защитник всеобщего спасения... В этом смысле его мысль противоположна традиционно-православному монашески-аскетическому богословию» [26, с. 242]. Грустно было Булгакову обрывать те связи, которые соединяли Толстого как автора «Детства», «Севастопольских рассказов», «Семейного счастья» и «Войны и мира» с традициями народа, семьи, веры и закона. И Булгаков высказал некоторые мысли, которые принадлежат только ему и резко отличают его от других мыслителей из круга «Религиозно-философских собраний». Он доказывал, что «беспристрастное сознание» не может относиться к «еретику» Толстому только как «к язычнику и мытарю». Несмотря на постановление Синода, Булгаков утверждал, что даже «и отлученный Толстой остается близок к Церкви, соединяясь с Ней какими-то незримыми, подпочвенными связями... Это была одна из самых смелых попыток освободить Толстого из-под гнета тяжелого постановления. «Может быть, здесь сказывается обаяние художника, – пишет Булгаков, – прежде умевшего подойти к интимной стороне православия, да и позднее, хотя бессильно, к нему тянувшегося (вспомним его путешествие в Оптину, его попытки подойти к народной вере, описанные в “Исповеди”»).

Освобождая Толстого, Булгаков освобождал и свою совесть от греха осуждения ближнего. Это был для него очень важный шаг в личном плане. Как известно, впоследствии он принял сан священника. Поэтому в его рассуждениях о Толстом есть лирические мотивы большой напряженности. «Сердце не чувствует его окончательно оторвавшимся от связи церковной: в этом отрыве видится скорее какое-то временное недоразумение». А «временное недоразумение» в представлении Булгакова было связано не только с заблуждением Толстого, но и с заблуждениями всего общества и целой эпохи. «Ведь нельзя забывать, – пишет Булгаков, – что деятельность Толстого относится к эпохе глубокого религиозного упадка в русском обществе».

СМЫСЛ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОПЫТА

Одиссей и сирены

В 1897 – 1898 гг. в журнале «Вопросы философии и психологии» был напечатан трактат Толстого «Что такое искусство?». Толстой как бы подводил итог своей многолетней творческой деятельности. В. И. Иванов как поэт, философ и историк культуры не мог не откликнуться на этот трактат. На него огромное впечатление произвел «уход Льва Толстого из дома», за которым последовала его смерть. Он увидел в смерти Толстого «вселенское событие», «освобождение». Уход и смерть – это, по словам Вячеслава Иванова, «двойное последовательное укрепление совершившейся личности, двойное освобождение, отозвалось благоговейным трепетом в миллионах сердец» [36].

Толстой был в представлении Вяч. Иванова великим и беззаветным защитником тех высших ценностей, которые он определял единым словом – «добро»: «Как голову Горгоны, противопоставил он единую ценность или единое имя “добра”, оно же было для него именем Бога, – всем остальным теоретическим и практическим признаваемым ценностям, чтобы обличить их относительность и через то обесценить».

Не избегло этой участи и само искусство, которому Толстой служил всю жизнь. Он уподобился вдруг «Одиссею, проплывающему мимо острова певучих очаровательниц Сирен». «Замкнул слух», чтобы не слышать этих напевов. Это тоже было своего рода «освобождение», близкое по смыслу к «уходу из дома...» Он отрывался от «стихии музыки», уходил и от «святыни любви и святыни женственности», «насильственно освобождался из нежных уз...» Отсюда выростала и сама программа его действий и поступков: «Нужно было только притупить жизнь – жизнью по Божьи, “добром”, моралью упрощения, т. е. разложения многосоставных форм на их простые элементы: тогда глубинное чувство живого бытия обращалось поистине в чувство пустыни, внемлющей Богу».

Вяч. Иванов признавал в Толстом огромную творческую силу. Но он находил в самой этой силе нечто разрушительное для искусства: «Пафос Толстого-художника есть по преимуществу пафос разоблачителя и обличителя, и потому внутренне анти-